

ББК 87.3
Р 90

Утверждено
РИС Ученого совета
Российского университета
дружбы народов

Рецензенты:

доктор философских наук, профессор *А.А. Кара-Мурза*,
доктор социологических наук *А. Ф. Филиппов*

Руткевич А.М. Р 90 Консерваторы XX века: Монография. - М:
Изд-во РУДН, 2006. - 180 с.

ISBN 5-209-01887-3

В монографии рассматриваются учения ведущих европейских консервативных мыслителей. Наряду с философскими и социологическими концепциями, в книге анализируются политические доктрины и движения первой половины XX века: «консервативная революция» в Веймарской Германии, «Французское действие» Ш. Морраса, послевоенный либеральный консерватизм Л. Штрауса, оказавшего заметное влияние на современный американский неоконсерватизм.

Для студентов и аспирантов гуманитарных специальностей, филологов, политологов, социологов.

ISBN 5-209-01887-3

ББК 87.3

© Издательство Российского университета дружбы народов, 2006 ©
Руткевич А.М., 2006

ПРЕДИСЛОВИЕ

В книге объединены статьи, разбросанные по малотиражным сборникам, и предисловия к работам, публиковавшимся крайне незначительным тиражом в изданиях, которые доступны немногим. Правда, иные из этих публикаций помещены в Интернете, как и мои переводы (у меня нет никаких претензий к тем, кто это делает без моего ведома). Я решил собрать под одной обложкой свои небольшие работы о консерваторах XX столетия - о мыслителях, а не о видных политиках. Черчилль или Де Голль, конечно, заслуживают внимания историков не только как государственные деятели, Тэтчер, Коль и даже Рейган неплохо понимали, какую программу они реализовывали. Однако талант политика и способности теоретика редко совмещались в одном человеке и в прошлом (вспомним о политических неудачах великих теоретиков, будь то Платон или Макиавелли), то же наблюдается и в наше время. Мыслители, о которых идет речь в данной книге, также не преуспели в области практической политики, если вообще к таковой обращались. Консерваторами были и многие крупные писатели (Тютчев и Достоевский, Честертон и Т. Элиот), и некоторые видные ученые (например Менделеев), но мы ценим их художественные произведения и научные теории независимо от идеологических предпочтений.

Конечно, представленные в этой книге концепции не дают сколько-нибудь полного обзора консервативной мысли XX столетия - такой обзор и не входил в мои намерения, поскольку я никогда профессионально не занимался ни историей отечественной политической мысли, ни англосаксонским консерватизмом. Более того, в эту книгу не включены некоторые публикации по испанской философии: хотя Ортега-и-Гасет близок либеральному консерватизму, а Унамуно - немецкой «консервативной революции», в круг моих занятий в последние два десятилетия испанская фило-

софия практически не входила. Разумеется, немецкая и французская консервативная мысль представлена тоже выборочно - место Зомбарта или Шпенглера вполне могли бы занять Шмитт или Юнгер, а Баррес не менее важен для понимания французского консерватизма, чем Моррас. То, что в книге представлены именно эти философы, отчасти дело случая, поскольку именно их мне доводилось переводить и комментировать, следуя пожеланиям издательств. Небольшая книга вообще не может служить учебником по истории политических учений - мне самому было бы интереснее писать о Леонтьеве или Солоневиче, чем о Моррасе, но в соответствии с «разделением труда» я могу считать себя специалистом по континентальной европейской философии.

Стоит отметить, что все рассматриваемые политические доктрины относятся к первой половине недавно завершившегося столетия. Они принадлежат недавнему прошлому, а потому их трудно рассматривать беспристрастно, *sine ira et studio*. Э. Хобсбаум однажды удачно наметил область между «современностью» и «историей», указав на то, что к чисто историческому исследованию при изучении недавнего прошлого примешиваются внешние для него факторы. Это - «сумеречная зона» между историей и памятью, между огромным числом доступных документов (много большим, чем за любой другой век истории) и памятью участников событий, которые еще способны сказать: «Нет, это было совсем не так». Наша собственная жизнь вплетается в повествование, поскольку мы сами слышали рассказы тех, кто застал времена, которые станут предметом собственно исторического познания только для наших внуков; мы сами сформированы этими недавними событиями, а потому даже самый строгий ученый вдруг сбивается на политическую публицистику. Тем более, что времена быстрых перемен, революций, сломов, «мутаций» никак не способствуют объективности взгляда. Память еще не угасла, историк либо должен ждать еще несколько десятилетий (но тогда может завершиться и его жизнь), либо соревноваться с социологами, демографами, экономистами и даже журналистами; ему приходится опрашивать живых, а не мертвых; работу в архивах ему заменяют интервью со свидетелями.

Консервативная мысль начала XX в. уже покинула эту «сумеречную зону» и стала историей. Разумеется, современными в каком-то смысле остаются и «Политика» Аристотеля, и «Госу-

дарь» Макиавелли; о К. Шмитте в последние 5-6 лет написано больше, чем за несколько предшествующих десятилетий. Однако наш интерес к политической мысли давнего или недавнего прошлого может направляться не желанием приспособить их к проблемам сегодняшнего дня, а чисто познавательным интересом («как это действительно было» Л. Ранке). В этой перспективе хорошо видно то, что все рассматриваемые авторы отличаются и от современных консерваторов, и от своих предшественников, консерваторов XIX в. Ни у кого из них нет стремления вернуться в благословенные времена того или иного монарха, нет пиетета по отношению к церкви - *ancient regime* для них бесповоротно умер. Даже мечтавший о восстановлении монархии Моррас мыслит ее совсем не так, как это делали Де Местр и Бональд, он думает о том, как в старые меха влить новое вино (вплоть до попыток установить связи с профсоюзами). Все они далеки от романтизма. Конечно, и прежние консерваторы в большинстве своем совсем не были романтиками - изобретенную Мангеймом формулу: романтизм = консерватизм просто опровергнуть даже имея в виду одну лишь Германию, где консерватизм был в наибольшей мере связан с романтизмом (основоположник немецкого консерватизма, Ю. Мезер, романтиком вовсе не был, а иные романтики, вроде дружившего с основоположниками марксизма Гейне, вряд ли могут быть зачислены в консерваторы).

Для консерваторов начала XX в. характерно сведение счетов с прежними архаичными воззрениями - К. Шмитт критиковал «политический романтизм» ничуть не меньше Морраса. Консерваторы XIX в. чаще всего не были националистами и, тем более, шовинистами (национализм и шовинизм суть порождения Французской революции, затем национал-либерализма европейских стран). К. Леонтьев видел в национализме европейского буржуа «орудие всемирной революции». В начале XX в. консервативная мысль чаще всего не просто национальна, иногда она выступает как яростный и бескомпромиссный национализм. Грань, отделяющая консерваторов - даже самых радикальных сторонников «национального социализма» - от фашизма, всегда хорошо заметна, поскольку фашизм был не только контрреволюционной, но и революционной идеологией, желал сотворить «нового человека», смести

прежние элиты, заменив их на партийный аппарат¹. У некоторых консерваторов этого периода последовательное отвержение либерализма ведет к перенятию многих элементов социализма и к лозунгу «консервативной революции», хотя все они остаются противниками подчинения государственных институтов тоталитарной партии. Некоторые дожившие до 1970-х гг. режимы были своего рода «материализацией» этих идей (авторитарные системы власти в Испании и Португалии) - срок жизни этого политического проекта оказался недолгим.

Хотя в современной России имеется изрядное число тех, кто хотел бы воспользоваться идейным наследием «консервативной революции», историк, остается верен своей профессии лишь в том случае, если он сохраняет дистанцию и смотрит на прошлое именно как на прошлое. У историка могут иметься свои «партийные» предпочтения, но их он должен «брать в скобки». Мы живем в совершенно иной реальности, чем люди первой трети XX столетия, которые были свидетелями того, что немецкий историк Э. Нольте назвал «эпохой европейской гражданской войны». Чтобы понять книги и лозунги французских консерваторов вековой давности, следует вспомнить, что в это время III Республика вела настоящую войну против католической церкви, нарушая тем самым даже собственную конституцию, провозглашавшую «свободу совести» (десятки тысяч закрытых приходов, 14 тысяч ликвидированных церковных школ и т.п.). Кто сегодня во Франции помнит о том, что в армии была установлена слежка за офицерами, и тем из них, кто ходил на мессу, был закрыт путь вверх по лестнице чинов и званий? Именно в этих условиях атеист Ш. Моррас становится вождем «Action française», ориентирующейся на голоса католиков, составлявших большую часть французской провинции. Чтобы понять необычайную популярность журнала «Die Tat» в 1929-

¹ Об этом приходится напоминать лишь потому, что среди «левых» критиков консерватизма не перевелись любители навешивать удобные ярлыки. Значительная часть современной немецкой литературы о консерватизме и в особенности о «консервативной революции» представляет собой партийную полемику наследников Адорно с «правыми». Такая полемика вполне уместна в газетах, но авторы, вроде Грайффенхагена, желают сводить счеты с политическими противниками посредством диссертаций и толстых томов, претендующих на научную значимость (да и профессорские места в Германии дорого стоят).

1932 гг., равно как и распространенность идей «консервативной революции» вообще, нужно не идеализировать Веймарскую республику (с ее любезными сердцу «левых» кабаре и выставками экспрессионистов), но увидеть кровавые схватки в Берлине, Мюнхене, Гамбурге, в Саксонии (1919-1923), путчи, разорившую средние слои инфляцию, голод 6 миллионов безработных, не говоря уже о ненавистном всем немцам Версальском договоре и оккупации французскими войсками Рура. Для историка очевидно то, что предлагавшиеся в то время проекты были связаны с социальной структурой европейских государств того времени (они были еще во многом аграрными), с той угрозой прежним элитам, которая возникла вместе с III Интернационалом, с несостоятельностью первого варианта глобализации («цивилизации золотого стандарта»), со всей эпохой мировых войн, революций и контрреволюций. Казалось бы, послевоенные концепции Гелена и особенно Штрауса близки современности: «технократический консерватизм» первого оказал воздействие на программные документы баварской ХСС, а о втором левые в США доньше пишут как об учителе находящегося ныне в Белом доме неоконсерваторов. Однако немецкие консерваторы давно отошли от популярных в середине 1960-х гг. идей, а влияние Штрауса на «неоконов» также не следует преувеличивать. Конечно, некоторые «ястребы» слушали лекции Штрауса в Чикаго, но ставший недавно директором Мирового банка Вулфовиц все же никак не может считаться «учеником Штрауса» (скорее, его наставником был Уолстеттер). К последователям Штрауса трудно отнести и Фукуяму, который хоть и научился многому у наиболее известного представителя Чикагской школы political science А. Блума, но по своим идеям очень далек от основателя этой школы Штрауса. Главное отличие заключается в том, что современный американский неоконсерватизм является идеологией глобализации, американской экспансии и гегемонии, распространения демократии (в ее американском понимании) по всем континентам, тогда как Штраус вовсе не был поклонником демократии и уж тем более деятельности каких бы то ни было «прогрессоров». Его ученики из «неоконов» готовы насаждать «американскую мечту» по всему миру, тогда как Штраус был противником всякой глобализации, считая абсурдным сам проект всемирного государства и «конца истории». В письме К. Левиту (от 15.09.1946) он писал, что Платон и Аристотель остаются образцо-

выми мыслителями, давшими набросок совершенного политического устройства. Ни тот, ни другой не были «демократами» в сегодняшнем смысле слова, оба мыслили политику возможной лишь в рамках небольшого города-государства. Если государства остаются, то по-прежнему актуален и вопрос, поставленный античными мыслителями о благе, о наилучшей форме сосуществования между согражданами. Образцом такого сосуществования для него оставались Афины (причем не во времена Перикла) и Великобритания времен если не Юма, то Дизраэли. Такого рода либеральный консерватизм также принадлежит прошлому.

При всей спорности многих тезисов недавно переведенной у нас книги Грея «Поминки по Просвещению», он прав, когда пишет о том, что неоконсерватизм времен Тэтчер и Рейгана практически уничтожил все прежние версии консерватизма - по крайней мере, в США и Западной Европе. В США близкие Штраусу воззрения можно обнаружить не у советников президента Буша, не во влиятельных журналах, вроде «National Interest» или «The Weekly Standard», а в маргинальном сегодня слое палеоконсерваторов и в журнале «The American Conservative», издаваемом известным российскому читателю П. Бьюкененом. Эти консерваторы по-прежнему считают своим идеалом не массовую демократию, а управляемую «лучшими» республику - идеалы у них те же, что у Штрауса (и те же, что были у Аристотеля и Цицерона); более того, они хотят, чтобы США оставались не вмешивающейся в дела остального мира республикой и не делались империей (так называется книга десятилетней давности Бьюкенена - «Республика. Не Империя»). Неоконсерваторов, вроде У. Кристола, они считают главными своими врагами и даже именуют их «неоякобинцами». Именно такого рода консерваторы выступают в США как сторонники изоляционизма и противники «авантюры» в Косово или в Ираке.

Хотя подобные взгляды разделяют очень многие американцы и европейцы, никто не станет финансировать этих «реакционеров», а потому они проиграют любые выборы. Тот же Бьюкенен не единожды безуспешно пытался стать президентом, но, по воспоминаниям другого известного американского консерватора, Рассела Керка, на каждые десять тысяч долларов пожертвований в пользу Бьюкенена во время «праймериз» приходилось 10 млн. на кампании их соперников из числа республиканцев. В Германии журнал наследников «консервативной революции» «Criticon», ос-

нованный под воздействием идей Гелена, в последние годы придерживается ультра-либерализма в экономике, во Франции Моррас забыт даже сторонниками Ле Пена, а еще не вымершие роялисты долгое время поддерживали социалиста Миттерана.

Ни «просвещенный консерватизм» тори или октябристов вековой давности, ни «консервативная революция» 1920-1930-х гг., не говоря уже о попытках восстановить монархию, не могут считаться сколько-нибудь значимыми сегодня проектами в странах Запада. То, что в России и некоторых других странах они могут оказаться актуальными и даже сподручными для политиков, свидетельствует лишь об отсталости этих стран. Причем об отсталости не только экономико-технической или политической, но также интеллектуальной - если элиты продолжают мыслить наподобие людей столетней давности, если они хватаются то за смехотворную идеологизированную версию экономического либерализма, то за цезаризм («управляемая демократия»), нельзя ожидать и решения экономических и социальных проблем. Консерваторов всегда отличало от либералов и социалистов отсутствие догматически принятых универсальных формул, вдумчивое отношение к традициям своей страны, а потому можно надеяться на то, что они и в России начнут думать собственной головой, учитывая как позитивный, так и негативный опыт других стран. Но это уже относится не к тем проблемам, которые решает историк, в задачи которого входит только познание прошлого таким, каким оно было, а не обслуживание тех или иных интересов сегодняшнего дня.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДОКТРИНА Ш. МОРРАСА

Политическая доктрина лишь отчасти определяет практику даже у тех деятелей, которые вообще обращались к теории; догматиков чаще всего наказывает жизнь. Доктрина притязает на истинность, действие политика должно быть эффективным. Разумеется, жизнеописание ученого или художника также включает в себя события и конфликты, в нем также говорится о деяниях, ибо история была и остается *gestae*. Однако посмертная слава ученого почти не связана с тем, как оценивали его современники, тогда как о политиках мы судим прежде всего по тому, чего они сумели добиться. Рассказывая о Т. Море, Ф. Бэконе или Г. Болингброке, мы можем практически не принимать во внимание то, что они поднимались на вершины власти, а затем терпели крах; поэзия Державина ценится нами вне всякой связи с тем, что одно время он занимал высший государственный пост.

В то же время о Кромвеле и Наполеоне, Муссолини и Ленине историки вообще берутся писать только по той причине, что они хотя бы на время преуспели в реализации своих политических проектов. Вместе с католической церковью Галилея осуждало подавляющее большинство современников, что никак не сказывается на дальнейшей судьбе его физики, не преуспевший в свое время политик чаще всего нам просто не известен. Доказательством того, что политик сумел выразить *Zeitgeist*, является его успех или хотя бы героическая гибель во имя того, что мы сегодня считаем *нашей* исторической реальностью. Вопрос заключается в том, как быть с теми, кто проиграл, ибо стремился остановить «прогресс», придать истории совсем иное направление. Если они не забыты, то зачастую предстают как злодеи - реакционеры, мракобесы, даже «враги рода человеческого», хотя они были врагами именно того, что нес с собою этот «прогресс», который Т. Манн однажды иронически

назвал (с понятной отсылкой к Ницше) «прогрессом от музыки к демократии».

Шарль Моррас принадлежит к тем политикам, которые проиграли и были осуждены если не «историей», то судом его сограждан. В январе 1945 г. начался процесс над восьмидесятилетним стариком, которого обвиняли в коллаборационизме, в доносительстве на деятелей Сопротивления и т.д. Прокурор требовал смертной казни для того, кого победившая сторона считала главным идеологом вишистского режима. Правда, за восемь месяцев суда обнаружилась полная несостоятельность обвинения. Моррас был автором многочисленных статей, осуждавших коммунистов и голлистов, но не написал ни одного доноса, а также ни строчки с призывом к сотрудничеству с оккупантами; он не только не сотрудничал с режимом Лавалля и Деа, но находился с ними в непрерывном конфликте - им были написаны и многочисленные статьи против коллаборационистов (они, правда, не были пропущены цензурой). Даже едва не удавшееся покушение на этих лидеров коллаборационизма было совершено одним из членов организации Морраса «Аксьон франсез». Да, он поддерживал маршала Петэна, но на 1940-1941 гг. его поддерживали почти все французы; да, он считал, что проигравшая войну Франция не должна выступать ни на стороне Германии, ни на стороне Англии в их борьбе за мировое господство. К тому же французский флот был расстрелян английским в Тулоне, а английские самолеты бомбили Париж. В секретном докладе немецких спецслужб (который суд отказался приобщить к делу, ибо противоречил всей версии обвинения) Моррас был назван одним из главных врагов Рейха во Франции.

Процесс над Моррасом был не уголовным, но политическим. Его судили как политического врага, который полвека вел борьбу с «левыми» в целом, с республиканским режимом, с либерализмом и парламентаризмом, с «Декларацией прав человека и гражданина» - со всей той Францией, которая считала своими «принципы 1789 года». Был и еще один момент: сам Моррас назвал приговор к пожизненному заключению «реваншем Дрейфуса». Это замечание точно не только потому, что Моррас был антисемитом, не только потому, что его политическая карьера началась со статьи «Первая кровь» в 1898 г. во время «дела Дрейфуса». Морраса судили в соответствии с теми принципами, которых он сам придерживался: Дрейфус для него мог быть и невиновен, но политиче-

екая целесообразность требовала, чтобы приговор не пересматривался. Так как победу одержали политические противники, то такого рода целесообразность закономерно превращала Морраса во «врага народа». В известном смысле он и был таковым на протяжении всей своей деятельности, поскольку во Франции не было другого столь влиятельного и последовательного противника демократии. Даже если аргументы обвинения были слабыми, за ним было право победителя судить побежденного. Да и было за что: всю свою жизнь ненавидевший немцев Моррас прямо никак не сотрудничал с ними, но его статьи с требованиями сурово карать участников Сопротивления объективно помогали оккупантам. Да, в 1940 г. Петэна поддерживало большинство французов, включая и множество будущих деятелей Сопротивления, но в 1943 г. ситуация была совсем иной. «Интегральный национализм» Морраса вступил в конфликт с чаяниями большей (и лучшей) части нации.

Моррасу позволили умереть не в камере, а на больничной койке. Перед смертью он примирился с католической церковью. Хотя в тюрьме он написал несколько книг и десятки статей, умер он в неизвестности - его идеи устарели настолько, что на него уже не ссылались впоследствии даже ультраправые, вроде Пужада или Ле Пена. Сразу после смерти оставшиеся последователи выпустили четыре тома «Главных трудов» (*Oeuvres capitales*, P., Flammarion, 1954), отобранных самим Моррасом в качестве своего наследия. В дальнейшем они не переиздавались - спроса на монархическую «идею» во Франции нет (а сохранившиеся роялисты в 1980-е гг. поддерживали социалиста Миттерана).

В создаваемом «левой» прессой общественном мнении Моррас предстает как творец французского фашизма. Впрочем, левые вообще склонны применять ярлык «фашизм» ко всем тем, кого они желают дискредитировать. Хуже то, что единственное серьезное исследование идей Морраса, принадлежащее немецкому историку Нольте (в его книге «Фашизм в свою эпоху»), прямо относит его даже не к провозвестникам фашизма, но к его теоретикам и практикам, наряду с Муссолини и Гитлером. Независимо от последующих трудов Нольте, в которых за приход Гитлера к власти стал нести ответственность Сталин, он уже в этой работе решал не слишком благодарную задачу: релятивизировать национал-социализм, сделать его одним из «феноменов» эпохи «европейской гражданской войны, причем феноменом «трансполитическим» -

сущностью фашизма было объявлено «сопротивление трансценденции», а тем самым всякое противостояние либеральной демократии с консервативных националистических позиций оказалось у него ведущим к фашизму. Более того, великолепное владение историческим материалом и философская выучка служат у Нольте косвенному оправданию немецких элит, возобновлению той популярной сказки, будто выбор у немцев был только между коммунистами и нацистами, и выбрали они Гитлера как «меньшее зло». Моррас был консерватором, роялистом, т.е. «реакционером» с точки зрения либералов и социалистов. Но с точки зрения «белых» фашизм и коммунизм равным образом представляют собой «диктатуру сволочи», как определил эти два режима близкий Моррасу по духу русский монархист Солоневич. В апологии Моррас не нуждается, его политические воззрения и деятельность требуют непредвзятого рассмотрения.

Шарль-Мари-Фотиус Моррас родился 20 августа 1868 г. в Мартиге, большой рыбацкой деревне на одном из островов в устье Роны. Несколько поколений его предков по отцовской линии были сборщиками налогов, этим занимался и его отец. В провинциальных городках и деревнях того времени эта профессия означала довольно высокий статус и относительную независимость. Дед с материнской стороны был мэром этого большого селения, т.е. семья Моррасов принадлежала к более или менее зажиточному и образованному слою провинциальной мелкой буржуазии. Эта социальная принадлежность сказывалась уже на языке общения: на Юге Франции буржуа и их дети говорили на французском, а не на провансальском языке. Моррас по-настоящему выучит провансальский не дома, а в Париже, когда станет активным участником «Фелибриж», землячества выходцев из Прованса.

Семейная ситуация Шарля Морраса была характерной для Франции тех лет: отец был либералом и вольтерьянцем, мать - чрезвычайно набожной католичкой. Трудно сказать, как сложилась бы его судьба, не умри его отец в 1873 г. Скорее всего, он получил бы образование в республиканском лицее, а тем самым его жизнь получила бы совсем иное направление. Но он, проучившись три года в деревенской школе в Мартиге, был отдан не в светскую школу, а в католический коллеж в Эксе. Он давал соответствующее духовной семинарии образование, но для тех, кто не собирав-

ся становиться священниками, предлагалось и превосходное образование по программе государственного лицея. Поэтому в нем учились выходцы из местной элиты, которую со времен Революции называли blancs du Midi - «белые Юга», имея в виду, разумеется, не цвет кожи, но верность монархии и церкви. «Красными» для них были все наследники Революции, будь то либералы, бонапартисты или социалисты. Моррас был сформирован этой средой, этими ценностями французских легитимистов, которые даже в Орлеанской династии видели предателей монархической идеи. Патриотический культ Жанны д'Арк (которая все же была сожжена церковью как еретичка) сочетался здесь с католицизмом людей, непримиримо враждебных республике и всему наследию Просвещения. Франция для них была создана монархами, Орлеанская Дева помогла Капетингам в борьбе с ненавистными чужеземцами; католическая Франция - «старшая дочь церкви» - потерпела поражение в 1871 г. от протестантской Германии именно потому, что предала забвению свое великое прошлое. Таков круг представлений людей, которые окружали Морраса в детстве и в юности. Когда он впоследствии писал в «Исследовании монархии», что пришел к роялизму путем рационального рассуждения, то говорилось это не из чисто пропагандистских соображений. Мистическую доктрину королевской власти Моррас утратил вместе с христианской верой, однако рационально он обосновывал те принципы и ценности, которые были буквально впитаны им в Эксе.

В коллеже будущую элиту учили превосходные педагоги; то, что здесь, в отличие от лицея, изучали еще Августина и Аквината, не мешало основательному изучению греческой и латинской классики, французской литературы, философии. Моррас вскоре стал лучшим учеником, причем с весьма раннего возраста стал проявлять интерес к произведениям авторов, которые были строжайшим образом запрещены в коллеже, в том числе романам Золя, «Цветам зла» Бодлера или «революционной теократии» христианского социалиста Ламенне. Одна книга сыграла в его жизни огромную роль - «Мысли» Паскаля. Будучи еще совсем молодым человеком, Моррас обнаружил, что описание удела человеческого в «Мыслях» совершенно правильно, но из него совсем не следует та апология христианской веры, которую попытался вывести из него Паскаль.

Моррас не собирался становиться священником, более того, несмотря на свои блестящие успехи в науках, он вообще не думал становиться ученым или писателем, но хотел стать моряком. Все планы рухнули в 14 лет, когда весной 1882 г. он неожиданно почти полностью оглох. Пока кто-то четко говорил прямо перед ним, он неплохо различал звуки, но даже речь преподавателя в небольшом классе расплывалась в набор непонятных шумов. Иначе говоря, даже с программой коллежа он не справился бы, если бы не помощь одного молодого преподавателя, взявшегося за индивидуальное репетиторство. Закрытыми для Морраса оказались и мореплавание, и любая деятельность, предполагавшая обучение в университете или любом другом высшем учебном заведении.

Сильным характером и тем, что Платон назвал «яростным началом души», Моррас обладал уже в юности. Он настойчиво учится, причем помимо неизбежно ограниченной программы по философии католической семинарии изучает труды таких философов, как Беркли, Юм, Кант, Шопенгауэр - вот круг его чтения в 15-17 лет. Утрата религиозной веры, произошедшая в это же время, радикальный скептицизм, переходящий в нигилизм, приводят его в весьма раннем возрасте к философским умозрениям, сходным с волюнтаризмом Ницше, которого он прочтет только через пару десятилетий. Отличия между ними несомненны - хотя бы потому, что Ницше был гениальным философом, тогда как Моррас в области «чистой» философии оставался дилетантом. Но к основным политическим своим идеям он пришел через философию и преодоление нигилизма. Если в мире нет божественного промысла и благодати, если миры возникают и гибнут (эту мысль Лукреция он освоил еще подростком), если хаос иррациональных влечений в душе предшествует разуму, то возможны два диаметрально противоположных вывода: либо дать этим разрушительным силам волю, либо встать на защиту упорядоченного социального космоса, навести порядок в душе - тогда гармоничным и прекрасным будет и внешний мир, который для прошедшего через школу Юма, Канта и Шопенгауэра являлся лишь проекцией наших представлений.

Поэтому самую яростную борьбу Моррас будет вести с родственными ему по духу поэтами и философами, которые сделали противоположные выводы. Их он будет называть «романтиками», имея в виду не только исторически существовавший романтизм начала XIX в., но также всех «проклятых поэтов», декадентов,

анархистов. Подобно Ницше, он станет противопоставлять эллинизму христианству, но восхвалять в античности он будет аполлоновский свет, а не дионисийство. Из античных божеств ему совершенно чужды Дионис и Прометей, а поклоняться он будет Минерве (Афине), богине разума, меры, гармонии. Хотя у Платона и Аристотеля он находит прежде всего критику демократии, но философский интеллектуализм будет служить ему в эстетике, где апология классических образцов искусства будет сочетаться с суровым осуждением романтизма и декаданса.

Художественное творчество и эстетика Морраса заслуживают особого исследования; он был неплохим поэтом и замечательным прозаиком, тонко передающим прежде всего красоту природного мира. Его долгое время не избирали членом Французской Академии только из-за его политических пристрастий и избрали в 1930-е гг. несмотря на одиозность для многих академиков его деятельности в «Аксон франсез». В его художественном творчестве, в литературной критике и даже в жизни есть целый ряд параллелей с П. Валери, который тоже был выходцем с Юга, тоже мечтал стать моряком, тоже приехал в Париж в юности и был вынужден годами заниматься далекой от творчества работой ради прокормления. Сходными являются некоторые эстетические принципы и даже консервативные выводы из радикального скептицизма: хрупкость цивилизации заставила Валери признать необходимость традиции со всеми ее «предрассудками». Но Моррас был не только писателем, политика вошла в его жизнь в юности и никогда не переставала быть истинной его страстью.

История жизни Морраса настолько переплетена с III Республикой, что нужно сказать хотя бы несколько слов о том, что толкало молодого и способного человека в лагерь непримиримой оппозиции. В начальный период этой республики, сразу после поражения в войне с Пруссией и подавления Парижской Коммуны, монархисты составляли чуть ли не большинство в Национальном собрании, а президент Мак-Магон вполне мог сыграть роль генерала Монка и вернуть стране монархию. Собственно говоря, влиятельные круги готовили в это время возвращение короля, последнего представителя прямой линии Бурбонов. Эти планы были сорваны республиканцами, граф Шамбор так и не стал «Генрихом V Благословенным» и через десять лет умер не оставив потомства. Республиканцам помогало то, что три «семейства» французских мо-

нархистов - легитимисты, орлеанисты, бонапартисты - не могли найти согласия. Но немалая часть французской буржуазии в это время возвращается в лоно католической церкви, страх «коммуны» толкает ее к консерватизму. Борьба между радикалами и консерваторами в буржуазном лагере сказывается на политике по отношению к церкви. Когда Моррас учился в старших классах коллежа, началась первая кампания пришедших к власти радикалов: «закон Ферри» о светском образовании, закрытие монашеских орденов и конфискация их собственности были актами политической борьбы и велась она от имени «идей 1789 года», т.е. тех принципов, которые изначально отвергались Ватиканом.

При власти «умеренных», таких как президенты Фор или Карно, католическая церковь получала передышку, а монархисты в парламенте поддерживали консервативных республиканцев. Партия радикалов была не просто антиклерикальной наследницей Революции, все ее вожди были к тому же масонами - под контролем масонских лож в это время находилось назначение префектов в провинции, а те умело использовали «административный ресурс» для выборов нужных депутатов. В условиях республики очень быстро выяснилось, что великие принципы - Свобода, Равенство, Братство - служат удобным прикрытием для власти денег.

Разразившийся в 1889 г. финансовый скандал обогатил экономический словарь названием страны «Панама»; он разорил 800 тыс. вкладчиков при активном взаимодействии нечистых на руку дельцов (то, что некоторые из них были евреями, привело к волне антисемитизма) и депутатов от радикальной партии. Были и другие скандалы вроде «дела Вильсона» (родственник президента приторговывал орденами Почетного легиона), которые вызвали в итоге массовое буланжистское движение, образование националистической «Лиги патриотов» во главе с Деруледом. Толпы, кричащие на улицах: «Долой воров!», массовое недовольство коррумпированной республикой в то время никоим образом не вдохновлялись идеей восстановления монархии. Напротив, при известной поддержке генерала Буланже бонапартистами, его движение мобилизовало левых: влиятельное крыло в нем представляли бланкисты (в том числе некоторые бывшие коммунары). Именно они сделали антисемитизм частью политической программы буланжизма (сам генерал антисемитом не был и его чуждался). Некоторые ис-

следователи (прежде всего, пишущий по-французски израильский историк Зеев Штернхел) видят в этом движении первые проявления европейского фашизма, а в писателе и политике Морисе Барресе - первого идеолога фашизма, пусть с той оговоркой, что в дальнейшем Баррес эволюционировал к умеренному почвенническому консерватизму.

На наш взгляд, такого рода аналогии не менее поверхностны, чем обнаружение «фашизма» в текстах Ницше, Достоевского или Розанова. Убедительное доказательство того, что антисемитизм во Франции появился на «левом» фланге (первый антисемитский трактат был написан сен-симонистом еще в 1845 г., Прудон был первым, кто написал о необходимости либо поголовного изгнания евреев из Европы, либо их уничтожения), еще не равнозначно доказательству того, что этот антисемитизм имеет хоть какое-то отношение к фашизму. Не говоря уже о том, что итальянский фашизм первоначально вообще никак не был связан с антисемитизмом (и было немалое число фашистов-евреев), такого рода исторические штудии выполняют известную идеологическую функцию: всякий протест против плутократии, всякий популизм в сочетании с национализмом (в особенности, если присутствует и антисемитизм) получают ярлык «фашизм» и дискредитируются. При этом забвению предается один немаловажный факт в генеалогии фашизма: отряды чернорубашечников Муссолини финансировались олигархами именно потому, что они громили социалистические кооперативы и муниципалитеты, а Гитлера привели к власти думавшие его «приручить» рурские магнаты. От того, что в 1793 г. революционные деятели в Париже обсуждали помимо всего прочего вопрос о хозяйственном использовании волос и кожи уничтожаемых вандейцев, мы все же не относим Сен-Жюста к основоположникам национал-социализма.

Вернемся, однако, к молодому Моррасу, который завершил обучение в коллеже в 1885 г. В последний год учебы он написал большую статью о Фоме Аквинском, которая была опубликована в серьезном журнале «Анналы христианской философии» - из него пришло письмо с пожеланием дальнейших публикаций. Католические связи помогли глухому юноше стать журналистом в Париже. С 18 лет он живет на гонорары, пишет по две-три статьи в неделю для различных изданий. Бульварным журналистом Моррас никогда не был, он писал статьи о литературе, науке, философии и, ко-

нечно, о политике. Сегодня, когда в 18 лет большинство выпускников школы изумительно инфантильны, может только поражать карьера молодого человека, уже изучившего Аристотеля и Канта, зарабатывающего средства на жизнь эстетическими и политическими статьями. Эта деятельность была великолепным дополнением к классическому образованию: не получив университетского диплома, Моррас обладал незаурядными познаниями во многих областях - от «русского романа» до работ по физиологии головного мозга и палеонтологии. Мешало лишь слабое знание иностранных языков, но Моррас и не желал учить «варварские» наречия, вроде немецкого или английского, а родственные романские языки не представляли трудностей при чтении и не изобиловали текстами, которые Моррас не мог бы прочесть в переводе.

В начальный период журналистской деятельности происходит одно важное для мировоззрения Морраса событие: он открывает для себя труды Конта и других позитивистов. Позитивная наука имеет дело с фактами, рациональное познание организует опыт, любая метафизическая гипотеза должна верифицироваться эмпирическим знанием - эти принципы позитивизма Моррас станет применять в социологии и политике, а собственную доктрину он иногда будет именовать «организующим эмпиризмом». В критике демократии его излюбленным аргументом станет указание на метафизичность таких идей, как «общественный договор» или всеобщее равенство. К позитивизму примыкал и такой мыслитель, как Ле Пле, социальный консерватизм которого был направлен на решение «рабочего вопроса». С трудами таких «классиков» эпохи Реставрации, как Де Местр и Бональд, Моррас познакомился еще в коллеже; теперь он осваивает труды тех мыслителей, которые сами прошли путь от либерализма к консерватизму - Тэн и Ренан важнее для Морраса, чем католические авторы.

Политическая деятельность Морраса начинается с весьма важного для понимания его доктрины момента: отстаивания автономии французских провинций, децентрализации. Еще Токвиль в «Старом порядке и революции» писал о том, что французская революция была наследницей абсолютизма, поскольку лишила провинции всех прежних прав; империя лишь упорядочила административный контроль. Моррас был провинциалом, причем выходцем из тех краев, которые дали слову Provence абстрактное значение. Провансальцы доныне помнят о богатстве и высокой культуре

Лангедока - до Крестового похода с Севера во главе с Симоном де Монфором катарская ересь была лишь предлогом для «грабителей с Севера». Правда, не будь этого похода, Франция вряд ли сделалась бы единым королевством, хотя бы потому, что провансальский язык, в отличие от диалектов собственно французского (patois), значительно ближе каталанскому.

Для французского националиста-Морраса проблема решалась просто: провансальцы были для него самыми «почвенными» из французов, да еще прямыми наследниками античного мира, причем не столько римлян, сколько колонистов-греков, прибывших в эти земли на полтысячелетия раньше римлян. Напомним, что современный Марсель - это Массилия, основанная фокейцами примерно в 600 г. до н.э. Первое поселение на месте родного для Морраса Мартига было греческим: археологи нашли там эллинское кладбище IV в до н.э. Хотя знания провансальского были у Морраса в то время довольно слабыми, в 1888 г. он принимает участие в конкурсе на лучшую работу о поэзии Теодора Обанеля, с которого началось возрождение литературы на провансальском. Неожиданно для самого себя он получает первую премию и входит в соприкосновение с культурно-просветительской ассоциацией «Фелибриж». Это землячество не имело никаких политических притязаний, в нем спокойно сосуществовали монархисты, республиканцы, социалисты - поэзию Мистрала и родную кухню можно ценить при любых политических взглядах. В 1889 г. Моррас становится одним из секретарей землячества и главным редактором его газеты.

Именно участие в деятельности «Фелибриж» привносит в мировоззрение Морраса идеи почвы и расы. Было бы в высшей степени антиисторично считать всех тех, кто в конце XIX в. расширительно толковал термин «раса» законченными расистами. О расах рассуждали и такой демократ, как Мишле, и социалист Жорес. К расовой теории чрезмерно часто прибегали и ученые мужи: достаточно вне исторического контекста просмотреть тексты основателя социальной психологии Ле Бона, чтобы сделать вывод о «расизме»¹. Моррас негативно относился к теориям Гобино уже

¹ Расовая теория в то время ещё могла считаться научной, к ней прибегали и те, кто никак не был «расистом». Автор монументальной книги «Империя царей и русские» А. Леруа-Болье обосновывает в то время со-

потому, что для того белокурые феодалы-германцы представляли собой высшую расу в сравнении с потомками кельтов. Хотя ничего подобного немецкому Rassenlehre (с его неповторимыми изысканиями на тему Rassenschande) у Морраса не было, элементы расизма ощутимы: противопоставление «людей латинской расы» и «северных варваров» связывается не только с культурным наследием первых, нечто существенное передается через «кровь». Однако «порода» является лишь одним из элементов целого, которое Моррас называл «цивилизацией». Расовую антропологию и социологию Моррас считал заблуждением, поскольку биология очень немногим может помочь историку и социологу. Родной язык, климат, почва, кровь, религия, искусство, обычаи и нравы - все они приносят нечто в цивилизацию.

Эта цивилизация находится под угрозой, она хрупка и может быть растоптана варварами. Таково убеждение Морраса с самого начала его деятельности, его он разделяет со всеми консерваторами. Варварами были и остаются германцы, варвары пробудились в

юз с Россией детальным подсчетом того, что в крови русских арийское наследство преобладает над финским; А. Фулье, который сам не чуждался расового детерминизма, в предисловии к своему труду о психологии французского народа писал: «Под влиянием политических предубеждений, сначала в Германии, а потом и во Франции, вопрос о национальностях смешивается с вопросом о расах. Отсюда получается своего рода исторический фатализм, отождествляющий развитие данного народа с развитием зоологического вида и заменяющий социологию антропологии. Писатели, превращающие таким образом войны между обществами в расовые войны, думают найти в этом научное оправдание права сильного в среде зоологического вида Ното. Некоторые антропологи, как бы находя недостаточной "борьбу за существование" между человеком и животными, между различными человеческими расами, между белыми и черными или желтыми, изобрели еще борьбу за существование между белокурыми и смуглыми народами, между длинноголовыми и широкоголовыми, между истинными "арийцами" (скандинавами или германцами) и "кельто-славянами". Это - новая форма пангерманизма. Даже цвет волос становится знаменем и объединяющим символом: горе смуглолицым! Войны, происходившие до сих пор, оказываются простой забавой по сравнению с грандиозной борьбой, подготовляющейся для будущих веков: "люди будут истреблять друг друга миллионами, - говорит один антрополог, - из-за одной или двух сотых разницы в черепном показателе"».

самой Франции - Моррас ежедневно проходил мимо руин разрушенного коммунарами дворца Тюильри. Наконец, наблюдая за жизнью парижской литературно-художественной богемы, к которой он, собственно говоря, принадлежал в то время как пишущий об искусстве журналист, он приходит к выводу, что цивилизации грозят и многие идеи. Страх толкает к мысли о необходимости насилия применительно к взбунтовавшимся варварам - хрупка человеческая жизнь, хрупка красота человеческих творений. Чтобы создать прекрасное, требуются огромные усилия, но чтобы разрушить, уничтожить, испоганить, нужны несколько вздорных идей, систематизированных фанатиком, и они превращают в ничто тысячелетнюю историю. Для консерватора прекрасны картины и дворцы, религиозные верования и народные обычаи, нации и государства. Все они неповторимо индивидуальны, а потому, как писал Моррас, «о цивилизации может рассказать только ее история». Приход варваров начался с идеей свободы и равенства, с идеала растворения всех наций в каком-то «едином человечем общечити». Уравнивание и выравнивание всех в болоте всеобщей терпимости (нетерпимы эти варвары только к своим врагам - «реакционерам») ведет к умиранию красоты, к исчезновению исторического многообразия человеческих и культурных типов - демократия и социализм представляют опасность для цивилизации.

Эта цивилизация сохранилась прежде всего в провинции. Хотя у власти находятся радикалы, большинство французов консервативны, они живут в деревнях и небольших городах, желают жить и умирать по обычаям предков. Но в их жизнь вмешивается бюрократический аппарат республики, централизация является орудием наследников кровавой и разрушительной революции, она способствует разложению и упадку традиционных институтов. Необходимо восстановление автономии провинций, которые сами могут позаботиться об образовании, безопасности, медицине, культуре, тогда как функции центральной власти должны ограничиваться защитой от внешнего врага. Как и легитимистское окружение в юности, Моррас представлял себе идеальную монархию совсем не по образцу абсолютизма Людовика XIV - от этого отошли уже идеологи Реставрации, члены «бесподобной палаты», видевшие образец в «свободной монархии» времен чуть ли не Франциска I (а то и Людовика IX). Участие в деятельности провинциального землячества подтолкнуло его к модернизации идеи со-

словной монархии. Применительно к реалиям конца XIX в. она стала выглядеть как «федерация французских республик», т.е. автономных провинций, передающих центру лишь ограниченные полномочия. Эти идеи сохраняются у Морраса на протяжении всей его политической карьеры.

Статьи об автономии провинций Моррас писал в то самое время, как возникало, набирало силу, а затем, после самоубийства Буланже, распалось первое массовое антиреспубликанское движение. Моррас в нем никак не участвовал, ничего по поводу этого движения не написал. Правда, на первых для него, как избирателя, выборах он проголосовал за кандидата-буланжиста (кстати, еврея), но темы буланжистской пропаганды его в то время совершенно не задевали: коррумпированный республиканский режим не улучшить на пути цезаризма, а Буланже был для него просто наследником бонапартизма, опиравшимся на те же ложные идеи 1789 г.

Моррас очень быстро столкнулся с тем, что даже сравнительно невинные статьи и деятельность в землячестве вызывают прямое вмешательство республиканских властей. Хотя среди членов «Фелибриж» большинство составляли blancs du Midi, под прикрытием давлением префекта полиции Моррас должен был оставить свои посты. «Республика едина и неделима» - вот догмат республиканской веры, на который запрещено всякое покушение. Только о своей вере в этот догмат громче всего кричали именно те люди, которые были замешаны в «панамскую» аферу.

В 1890-е гг. Моррас пишет уже не только для малотиражных научных изданий и монархических газет, он становится литературным обозревателем в лучшем на то время журнале «Revue encyclopedique Larousse». Литературная критика подводит его к ряду политических тем. В отличие от большинства французских консерваторов, он не смешивал эстетику с морализаторством, не осуждал Золя за «порнографию», но писал о несостоятельности натурализма по чисто художественным критериям. То, что Моррас долгое время превозносил Мистраля и Мореаса, противопоставляя их Бодлеру, Верлену и Малларме, говорит не о дурном вкусе, но о продуманной позиции: классицизм для него есть наследие греко-латинской традиции, романтизм - эстетика нигилистического бунта. У Гюго, Готье и других «мэтров» французского романтизма он находит пренебрежение к форме, многословие, бесконечные описания. Он не отрицает их одаренности, равно как и несомненного поэтического таланта у Бодлера и Верлена, но считает, что роман-

тическая идеология мешала им обуздать душевный хаос - они выплескивали на страницы романов и поэм все, что приходило им на ум, считая работу над словом чем-то необязательным. Романтизм быстро выродился в сентиментальное чтиво для дам, и это еще не худший случай, поскольку прометеевский бунт романтиков отрицает все сущее от имени своеволия, которое на собственный лад определяет добро и зло (или вообще находится «по ту сторону добра и зла»). Романтический герой то меланхоличен, то неистовствует, но всегда стоит за пределами закона и морали. Французские романтики не только «открыли» маркиза де Сада, но и предавались истинному сатанизму. «Бунт облачается в траур и красуется на театральных подмостках, - писал впоследствии Камю. - Кровавая мелодрама и черный роман празднуют свой триумф»¹. Для агностика-Морраса не так уж важны «игры в Люцифера» и богохульства, более того, романтизм для него сам имеет религиозные корни: индивидуалистическое неверие произошло от фанатичной веры, противопоставленной разуму. Уже в Ветхом завете имелись предпосылки для религиозного индивидуализма - пророки игнорируют существующую церковь, они один на один общаются с Богом. Секуляризация этой мистики привела к превращению метафизического бунта в социальный и политический. Поэтому романтизм для Морраса совсем не консервативен: даже если сегодня романтик восхищенно описывает Собор Парижской Богоматери, завтра он станет крушить алтарь и трон, послезавтра предстанет как меланхоличный денди или как «роковой» преступник.

Афины, Флоренция, Прованс - вот святые места Морраса. Культ античности и скептицизм сблизили его в то время с А. Франсом². Искусство примиряет человека с его уделом, но

¹ Стоит сказать, что при всех политических расхождениях - Камю был левым и ненавидел «Аксьон франсез» - в области эстетической его позиции близки Моррасу. Более того, оценки античности, христианства, романтизма и «немецкой идеологии» у Камю настолько сходны, что встает вопрос о возможном влиянии.

² Они познакомились в 1892 г. и были близкими друзьями, виделись 1-2 раза в неделю. Быть может, рассуждения аббата Лантеня о республике в первом романе «Современной истории» передают аргументы Морраса. В «Будущем интеллигенции» он дважды ссылается на «Современную историю», хотя к тому времени он уже расстался с Франсом в силу политических разногласий. Начав «Современную историю» с саркастического описания управляемой масонами продажной республики, Франс в двух

лишь в том случае, если это подлинное искусство, творящее прекрасные формы, способные на время дать человеку забвение своих страданий. Отличие от Шопенгауэра заключается в том, что взгляд на искусство у Морраса изначально политический: искусство либо служит цивилизации, либо ее разрушает. Романтический нигилизм коренится в самой природе человека, хаотичного и аморального существа. Обуздать этот хаос необходимо разуму и традиции - этого требует уже инстинкт самосохранения. Но разум человека слаб, он должен опираться на нечто ему предшествующее и прочное. Кровь и почва, равно как и основывающаяся на них традиция, представляют собой природную данность, столь же иррациональную, как и хаос страстей. Традиция способна направлять разум и волю, она делает человека человеком. Однако никакой духовной традиции Моррас не знает - не только в смысле «традиционализма» Генона, но и с точки зрения католицизма. Церковь важна для него исключительно как социальный институт, который дисциплинирует души. Католичество «с его сенсуализмом, идеей телесной красоты, чувством земной любви, радостью по поводу всего природного» для Морраса ценно как некая современная форма язычества.

Начатая в 1890 г. и вышедшая в 1896 г. повесть «Райская дорога» была тут же включена в папский индекс запрещенных книг, поскольку похвалы язычеству сопровождалась в ней откровенно антихристианскими пассажами относительно «религии рабов»¹.

последних романах высмеял французских роялистов и националистов, недвусмысленно заявил о своей позиции в пользу Дрейфуса, да еще стал симпатизировать социалистам и пацифистам. Хотя после Первой мировой войны Франс примкнул даже к коммунистам, это не изменило высоких оценок его Моррасом как художника. Стоит сказать, что он вообще не путал искусство и политику. Когда один из учеников и соратников по «Аксьон франсез» стал упрекать Морраса за то, что тот неизменно суров в оценке Людовика XVI и снисходителен к Вольтеру, этой «фернейской мумии», Моррас отвечал, что Вольтер, при всем своем просветительстве и издевках над Орлеанской Девой был неплохим французским писателем и поэтом, причем «классицистом» и противником Руссо.¹ При близких Ницше суждениях в этом произведении, совсем не обязательно искать здесь какое-то влияние - идеи «носились в воздухе». Любопытно то, что в «Общественном договоре» столь ненавидимый Моррасом автор писал практически то же самое: «Христианство проповедует лишь рабство и зависимость. Его дух слишком благоприятен для тирании, чтобы она постоянно этим не пользовалась. Истинные христиане

«Фанатическая религия» уничтожила классическое язычество, наступила долгая ночь цивилизации, причем победа христианства предстает у Морраса как триумф рабов, всякого рода убогих с задворков цивилизации. Впоследствии он станет прославлять Юлиана Отступника, который был провозглашен императором именно в Лютетии, а тем самым передал Парижу наследие Эллады и ее богов.

Поездка в Афины на первые Олимпийские игры в качестве журналиста укрепила это язычество Морраса, но оказала воздействие и на его взгляд на мировую политику. Глядя на соперничество атлетов разных наций, он утвердился во мнении, что эти нации непременно вступят в вооруженную борьбу, что в «железный век» нужно не умиляться «прогрессу науки и культуры», а укреплять армию и национальное сознание. Во многих своих статьях и книгах он повторяет: мы живем в «железный век», нужно считаться с тем, что Францию окружают более сильные державы, готовые решать конфликты силой оружия.

Лучшее эссе Морраса на темы геополитики «Киль и Танжер» указывает именно на то, что во внешней политике необходимо считаться с реальным соотношением сил в мире: либо уступить Англии в переделе колоний ради борьбы с Германией, либо оставить реваншистские планы по поводу Эльзаса и Лотарингии, вступать в союз с Германией против «владычицы морей». В любом случае нужно проявлять решимость и вооружаться, поскольку над вратами нашей эпохи начертано: «Горе слабому». Все хотят мира, но все готовятся к войне, кроме оказавшейся во власти радикалов Франции. Пацифизм всем хорош, кроме одного: он служит интересам иностранных держав, которые наперегонки строят линкоры. Для него не было более ненавистных слов, чем куплет «Интернационала», который исчез в русском переводе, но хорошо передает настроения социалистов перед Первой мировой войной: «...и если эти каннибалы будут упорствовать и делать из нас героев, то скоро они узнают, что наши пули предназначены для собственных генералов». Европа готовится к мировой войне, Франция готовится к войне гражданской - вот постоянный мотив публицистики Морраса. Именно поэтому в «деле Дрейфуса» он увидел прежде всего угрозу армии, а тем самым и всей нации.

созданы, чтобы быть рабами...» (*Руссо Ж.-Ж.* Об общественном договоре. - М., 1998. - С. 319).

Дело Дрейфуса поначалу было делом исключительно судебным, но затем оно надолго раскололо страну на «дрейфусаров» и «антидрейфусаров». Напомню, что капитана Дрейфуса обвинили в шпионаже в пользу Германии, его осудил военный трибунал республики, а не какие-то антисемиты из «Лиги патриотов». Приговор отказались пересматривать депутаты парламента - они были убеждены в виновности; президент Фор отказал в помиловании. Иначе говоря, и власти, и общественное мнение республики были убеждены в обоснованности приговора. Судебные ошибки вообще не редкость, а в делах о шпионаже, скрытых от глаз публики, их трудно пересматривать - всякий раз возникает вопрос о тайнах разведки и контрразведки. Выступление главного свидетеля обвинения, полковника Анри, завершалось ссылкой на некие обстоятельства, которые всякий контрразведчик должен не предавать гласности («оставлять под своей фуражкой»).

Семья Дрейфуса, убежденная в невинности капитана, добивалась пересмотра приговора; на помощь семье пришли влиятельные еврейские круги, сбор материалов, показывающих, что Дрейфус невиновен, сопровождался сомнительными денежными операциями, подкупом журналистов. Это положило начало разговорам о деятельности «еврейского синдиката». Никак с этими кругами не связанный новый руководитель разведки полковник Пикар обнаружил, что настоящим шпионом мог быть аристократ Эстергази, тогда как обвинение Дрейфуса вызывает сомнения. С этого момента дело приобрело политический характер. В газете «Орор» вышла знаменитая статья Золя «Я обвиняю», но газета была рупором героев «Панамы», вроде Клемансо - подозрения в подкупе, связях с «синдикатом» были настолько сильны, что еще летом 1898 г. общественное мнение было целиком на стороне обвинения, а парламент вновь отказался пересматривать дело. Эстергази был оправдан судом за недостаточностью улик, Золя был осужден за клевету, антисемитские настроения стали массовыми. Когда в сентябре 1898 г. Анри был арестован по приказу министра обороны Кавеньяка и покончил с собой в камере тюрьмы, ситуация резко изменилась. Военное министерство признало, что Анри фальсифицировал документы, а самоубийство выглядело как признание собственной вины. Пересмотр дела Дрейфуса казался неизбежным, лагерь «дрейфусаров» сразу укрепился.

В это время вышла статья Морраса «Первая кровь», которая имела не меньшее значение, чем статья Золя - она изменила мнение значительной части тех, кто готов был признать, что Дрейфус был обвинен на основании сфальсифицированных документов. Действительно, бросивший разглядывать сокровища Британского музея и примчавшийся из Англии Моррас, имел полное право дать иную интерпретацию самоубийства Анри. Ведь самоубийство могло быть вызвано отчаянием честного солдата, который не фальсифицировал бумаги, но просто переписал тайный документ (письмо итальянского военного атташе своему немецкому коллеге), публикация которого могла вызвать войну. Моррас прямо обвинил руководство министерства обороны в продажности, в том, что оно «сдало» Анри «синдикату». Если ранее «антидрейфусарами» были и многочисленные республиканцы, то теперь этот лагерь стал объединять противников республики.

Хотя новый военный суд подтвердил виновность Дрейфуса, он был помилован новым президентом республики, Эмилем Лубе, что вызвало вздох облегчения у одних (завершилось бессмысленно будоражившее страну дело) и ненависть у других - для них президент оправдал шпиона под давлением «синдиката» и купленных им политиков. Впоследствии, в своей «Политической исповеди» Моррас писал, что для него изначально дело было не в самом Дрейфусе, не в том, виновен он или нет. Мнения на сей счет были разными, причем у далеких от антисемитской истерии лиц. Журнал (на то время журнал, а не газета) «Аксьон франсез» напечатал перевод статьи главы немецких социал-демократов В. Либкнехта, который прямо писал о том, что дело было раздуто еврейской прессой, а Дрейфус виновен. Куда важнее было то, что на армию нападала пресса, находившаяся в руках радикальной партии. «Я не хочу возвращаться к давешним дебатам: *виновен* или *невинновен*. Мое мнение хоть тогда, хоть сегодня таково: если, по случаю, Дрейфус был не виновен, то его следовало бы сделать маршалом Франции, но расстрелять дюжину его главных защитников за тройное преступление против Франции, против Мира, против Разума»¹. За это дело потом расплачивались сотни тысяч французов, солдат Первой мировой войны - армия была ослаблена.

¹ *Maurras Ch. Oeuvres Capitales.* - Т. 2. - Р. 55.

Моррас подчеркивал, что личность Дрейфуса вообще его никак бы не заинтересовала - у «рыцарей плаща и кинжала» сколько угодно секретов и темных дел. Но поднятая в прессе кампания служила развалу армии, полному контролю над ней тех, кого он считал «агентами влияния» иноземных держав. Моррас, кстати, считал отчасти ответственной за раздувание этого дела не Германию, но Англию. Деньги дрейфусарам шли именно из Англии, которая в это время сталкивалась с Францией в борьбе за колонии - после пакта с Россией отношения с Германией на 1897-1898 гг. были вполне удовлетворительными.

«Дело Дрейфуса» обычно излагается только с одной стороны: осуждение невинного на основании сходства почерка и сфальсифицированного документа; к тому же - осуждение еврея и антисемитская кампания в прессе. Иногда глухо говорится о том, что семейство Дрейфуса и его адвокаты сами прибегали к методам, которые вызывали подозрения в виновности. Но за конфликтом, который пять лет подряд волновал Францию и кончился довольно странным компромиссом, стояла борьба между реальными политическими силами. Франция была в то время единственной европейской страной с массовой демократией, открытым для глаз противостоянием элит в условиях, когда партийная система еще не была «отлажена», когда немалое влияние сохранили монархические круги, получающие поддержку церкви (а тем самым и миллионов избирателей в провинции), но со все увеличивающимся влиянием организованного рабочего движения. Республике помогало то, что и расколотыми были как монархисты, так и социалистическое движение - даже марксисты Гед и Жорес не находили общего языка, а в то время еще сохраняли свое влияние сторонники Бланки и Прудона.

К 1890 г. прежние противостояния в буржуазном лагере, казалось бы, нашли оптимальное решение. Президент Ф. Фор вполне устраивал большинство монархистов и армию. Из правительственных кругов были убраны лица, замазанные «Панамой»; кризис буланжизма был преодолен. К этому времени католическая буржуазия смиряется с республикой. Конечно, свою роль сыграли реформы и энциклики папы Льва XIII, но правых объединяет прежде всего страх «коммуны», появление социалистического противника. Консервативное большинство в палате устойчиво, страна впервые с 1871 г. получила возможность спокойного развития. Ослаб-

ленными в результате оказались как монархисты всех оттенков, так и буржуазные радикалы с их антиклерикализмом, тем более что наиболее видные из них были замешаны в «панамское дело». История с Дрейфусом получила такую огласку именно потому, что и крайне правые, и радикалы увидели в ней возможность для укрепления своих позиций: при обострении борьбы консервативный республиканский лагерь раскололся. Собственно говоря, политическим это судебное дело стало именно потому, что радикалы во главе с Клемансо увидели в нем свой шанс вернуться в коридоры власти и не упустили его. Социалисты, которые поначалу смотрели на это разбирательство со стороны (спор двух фракций буржуазии), затем также увидели возможность поколебать равновесие в свою пользу: первые министры-социалисты входят в правительство радикалов, что было невозможно при власти консервативного большинства. Радикалы не скрывали того, что их целью является полный контроль над армией и максимальное ограничение церковного влияния. После победы они приступили к антиклерикальным мерам, которые ранее были невозможны из-за позиции «умеренных».

Немалое число католиков, тесно связанных с клиром и с армией, стали яростными антидрейфусарами, тогда как многие светские республиканцы поверили Клемансо, что существует монархический заговор. В результате, после победы в «деле Дрейфуса» у власти оказались именно радикалы, которые стали проводить откровенно антикатолическую линию, усиливая тот конфликт, без коего у них не было перспектив; с другой стороны, и в Париже, и в провинции оказалось значительное число лиц, которые уже никак не могли претендовать на какую бы то ни было карьеру в республике, людей дискредитированных, озлобленных. Представители элиты, которые знают, что им нет нормального хода при определенном режиме, будут стараться его устранить. Таков был шанс Морраса, он его не упустил, подобно тому, как не упустил своего шанса Клемансо. Страна была расколота и вплоть до Первой мировой войны борьба шла между радикалами и откровенными монархистами. Моррассу помогло и то, что к началу XX в. исчезли или ослабели другие оппозиционные движения - «лиги патриотов», антисемитские организации, буланжисты. Все они были республиканскими, все они сочетали крайний национализм с социализмом тех или иных оттенков. Сошли со сцены и их лидеры - Де-

рулед, Сиветон. Произошла мобилизация разного рода правых в «Лиге французского отечества», но она была настолько умеренной, что ее покинул и Моррас, и двое молодых интеллектуалов, основавших Action française, Пюжо и Вожуа. Моррас вступает в эту организацию - из публициста он делается политиком.

Доктрина Морраса формируется в последние годы XIX в., в то самое время, когда он убеждал Вожуа и Пюжо в преимуществах монархии. Основные аргументы были изложены в «Исследовании монархии», они лишь отчасти совпадают с традиционными доводами роялистов хотя бы потому, что сам Моррас ни во что не ставил мистическую доктрину королевской власти (то, что Канторович, вслед за английскими юристами XVI-XVII вв. называл «двумя телами короля»); «божественное право королей» Моррас однажды просто отнес к «торжественным глупостям». Такого рода «глупости» способны воздействовать лишь на тех, кто наделен верой, а ее не было ни у Морраса, ни у его слушателей из «Аксон франсез», молодых людей, ненавидевших республику, но считавших монархию чем-то архаичным. Этим же воззрениям придерживался М. Баррес, который не желал забывать о своем деде, солдате «Великой армии» Наполеона. Моррас имел дело с националистами, которые желали «твердовластия», «сильной руки», укрепления армии, но никак не Бурбонов, не Реставрации с какими-то возвращающимися в свои замки и особняки маркизами и графами.

В это время (1899 г.) Моррас пишет, наряду с «Исследованием монархии», текст «Роялистская диктатура и ее принципы», который был опубликован впоследствии под заглавием «Диктатор и Король». Для того, чтобы «навести порядок» после долгих безобразий демократии, королю потребуются диктаторские полномочия. Прежняя элита должна сойти со сцены, а это невозможно без принуждения и даже насилия. Основной задачей такой диктатуры является деполитизация общества - запрет на деятельность партий, ликвидация партийной прессы, агитации составляют важнейшую задачу диктатуры. В экономике предполагается борьба со злоупотреблениями капитализма, «со спекулянтами-космополитами, которые утвердились среди нас; здоровый и сильный народ сам справится с паразитами». Иначе говоря, король у Морраса напоминает, скорее, Бонапарта, разгоняющего республиканский парламент с помощью штыков или даже диктаторов XX в. Однако хорошо заметны и отличия, так как целью временного ограниче-

ния прав является защита права в целом. Диктатура краткосрочна, а так как речь идет о наследственной монархии, то диктаторские полномочия короля вообще сами собой отпадут достаточно скоро. Даже в условиях временной диктатуры за коммунами, провинциями остается решение всех основных проблем. Главным достижением диктатуры будет децентрализация, истинная свобода будет дана профессиональным ассоциациям, церквям, университетам, различным юридическим лицам. Исчезнет лишь «негативная свобода», свойственная партийной системе. Корпорации, палаты, институты - у них влияние увеличивается, именно потому, что исчезает парламент. Государство сжимается по своим функциям, перестает вмешиваться во все области и регулировать, но там, где это нужно, оно правит авторитарно. «Авторитет вверху, свободы внизу - вот формула роялистских конституций»¹.

На место чисто словесных гарантий свобод и прав в республике приходят реальные практические гарантии. Частных удобств и свобод больше, но вместе с тем растет и национальная сила - концентрация власти происходит там, где это действительно необходимо. В республике университеты и церкви лишены духовной свободы, их контролируют и опекают из министерств; в монархии они получают независимость от государства, они не содержатся на бюджетные средства, а потому не управляются министерскими чиновниками. Государство никоим образом не вмешивается в научные и философские изыскания; просто прекращается государственная поддержка подрывных теорий. Все это никак не напоминает меры, вроде нацистской «организации» (Gleichschaltung), когда буквально все институты гражданского общества были подчинены государственной и партийной машине. Небольшая профессиональная армия сменяет республиканскую с ее всеобщей воинской повинностью. Разумеется, такая армия преданно служит королю и, в случае нужды, подавит любой бунт. Но она явно не годится в качестве орудия агрессивной внешней политики. В этом программа Морраса также отличается от фашистских с их «тотальной мобилизацией». Он остается консерватором, даже реакционером - образцы он находит в монархии эпохи Реставрации.

¹ *Maurras Ch. Dictateur et Roi. Manuel de l'Enquete sur la Monarchie - P., 1928. - P. 392.*

С тоталитарными идеологиями эту доктрину роднит концепция «внутреннего врага». Она была одним из источников учения К. Шмитта о политическом, как отношении «друга» и «врага», но с тем отличием, что Моррасу был чужд всякий «децизионизм», он держался характерного для прежних консерваторов органицизма. Поводом для ее возникновения было «дело Дрейфуса» - все антипатриотические силы объединились в своем походе на армию, видя в ней потенциального врага республиканского режима, консервативную силу. Но главная вина лежит на самом республиканском режиме, который неизбежно ведет к власти Денег, а затем и к господству «Анти-Франции»; это не только и не столько евреи, они - лишь один из участников этой коалиции, причем далеко не самый сильный. Евреи дурны не сами по себе, но лишь потому, что они - чужаки, получившие непропорциональное влияние в стране, традиции которой ими игнорируются. Моррас даже ввел категорию вполне терпимых в его идеальной монархии евреев (*Je juif bien ne*), к которой относил большинство веками живущих во Франции представителей этой нации - проблемы возникают с переселенцами с Востока. В 1930-е гг., в ответ на послания ряда симпатизировавших «Аксьон франсез» евреев, указывавших на свой патриотизм, защиту Франции в годы войны 1914-1918 гг., Моррас отвечал, что он признает заслуги множества евреев перед Францией, а оптимальный путь видит в том, что евреи станут одной из «почвенных» национальностей, вроде бретонцев или гасконцев, но для этого им следует поселиться в одном из департаментов, прожить там несколько поколений. Он вряд ли знал, что именно в это время по сходному проекту на Дальнем Востоке была создана Еврейская автономная область.

Антисемитизм у Морраса играет подчиненную роль уже по той причине, что на 40 миллионов населения Франции евреев в начале века было 90 тысяч. Куда чаще он поминает масонов и особенно протестантов. Масонские ложи контролируют радикальную партию и ведут борьбу с католицизмом. До войны 1914 г. Моррас нередко изображал протестантов как исторического «внутреннего врага». Давняя история оказывается частью современной политики: религиозные войны XVI-XVII вв. были первым этапом борьбы Франции с «Анти-Францией». Моррас предстает как наследник католической Лиги, Гизов, «испанской партии». Протестанты в те времена вошли в союз со своими единоверцами в Англии и Герма-

нии, стали служить врагам, а потому оправданы их преследования. Из кальвинистской Женевы пришел ненавистный Руссо, а с ним сентиментальный романтизм и brutальная революция. Гугеноты - чужеземцы в родной стране, они прославляют индивидуализм, разрушают сообщества, но сами держатся плотно сбитой стаей, помогают друг другу захватывать все новые позиции. Моррас пишет книгу на основании попавших ему в руки документов о целой династии одной влиятельной протестантской семьи - Моно. Он приписывает ей всевозможные уловки и преступления, способствовавшие росту богатства и власти. Но главное, эти потомки разгромленных гугенотов никогда бы не преуспели, не будь революции. Это ее дети, но и сама революция восходит к протестантскому индивидуализму, вся либеральная риторика прав и свобод коренится в Реформации. Язва индивидуализма распространяется «вступившими в коалицию бандами» - протестанты, евреи, масоны и метеки едины в своей вражде исторической Франции, всем ее традициям. Революция привела к тому, что чужеземца приравнивали французу, а следствием оказалось то, что чужеземец стал теснить француза на собственной территории. Орудием этих сплоченных групп стали деньги: «Древняя Франция стала в большой степени объектом торговли. Она признала своим господином деньги. Но у денег нет отечества»¹. Единство нации в противостоянии с другими державами всегда будет неполным, пока внутри страны действуют ее враги. Когда они добиваются полновластия, страна неизбежно клонится к упадку и к поражению. «Мы уже стали подданными метеков. Сделаем ли мы их рабами? Испытаем ли мы новое нашествие варваров? Если этот удел нам не нравится, то час пробил - нам нужно восстать... Нам нужно лишь удалить нарыв»².

Однако силу этих сегодняшних врагов составляют ложные идеи, сделавшиеся идолами в массовом сознании со времен Революции, уже в средней школе француз впитывает догматику «свободы, равенства и братства» и полагает, что старый порядок был тиранией, от которого он был избавлен в 1789 г. Как и его предшественники - монархисты, Моррас устанавливает генеалогию этих ложных принципов, но в отличие от Де Местра и Бональда, бо-

¹ *Maurras Ch. Oeuvres Capitales.* - P.: Flammarion. - Т. II. - 1954. -P. 188.

² *Ibid.* - P. 165.

ровшихся с Просвещением и такими его предшественниками, как Локк или Бэкон, Моррас связывает Революцию с Романтизмом и Реформацией. Уже первая опубликованная им книга по вопросам политики - «Три политических идеи» (1898) - содержит тезис о разрушительности романтизма для монархии. Казалось бы, это расходится с привычным взглядом на романтизм, который часто рассматривался как консервативная оппозиция Просвещению -К. Мангейм сделал из романтизма даже главный источник консерватизма, а марксистские идеологи одно время писали исключительно о «реакционном романтизме».

Конечно, Морраса можно упрекнуть в том, что и почвеннический гейдельбергский романтизм, и британская «Озерная школа» сделали у него какими-то рассадниками революционных идей. Но и во Франции романтизм был прямо или косвенно связан с эпохой Реставрации, а Шатобриан был одним из видных политиков этой эпохи, да еще и создателем самого слова «консерватизм» (издаваемая им в 1818-1819 гг. газета «Le Conservateur»). Именно с критики Шатобриана начинается поэтому книга Морраса: будучи романтиком, Шатобриан не искал вечного, не знал настоящей традиции; «этот идол современных консерваторов воплощает для нас, скорее, гений Революции»¹. Столь же резко он обрушивается на романтическую историографию Мишле, у которого повсюду «сердце», повсюду «страсти»; из-за ложных романтических принципов великий историк сделался «философом безмозглого человечества». Романтизм в истории оставляет хладнокровные наблюдения ради сиюминутных страстей, он лишен критического анализа, логики. Моррас впервые пишет об «организующем эмпиризме», с его объективизмом и реализмом, противопоставляя историцизму позитивистскую социологию Конта². Роялизм должен обосновы-

¹ *Maurras Ch. Oeuvres Capitales.* - P. 74.

² Моррас неоднократно обращался к социологии Конта, он написал о нем и небольшую книгу. Помимо собственно позитивистской программы Конта его привлекала критика революции, защита порядка и дисциплины. Нужна новая организация общества, и найти ее нужно научным путем «свободного исследования». В приложении к другой работе («Женский романтизм. Аллегория беспорядочного чувства») Моррас приводит ряд цитат из трудов Конта по поводу революции. Скажем про «революционное состояние» он писал так: «Если революционное состояние заключается у его практиков в том, что все желают командовать и никто не

ваться научными фактами, а не ссылками на «божественное право королей»; иррационалистами для Морраса являются романтики - либералы и анархисты, тогда как классицизм с его «духом авторитета и традиции» имеет лишь один алтарь «богини Разума».

Впоследствии Моррас развил эти идеи в эссе «Романтизм и Революция» (первоначально - предисловие к сборнику, вышедшему в 1922 г.), в котором указываются религиозные истоки Революции. Классический дух чужд революции, как и дух средневекового католицизма. «Отцов революции нужно искать в Женеве, в Виттенберге, а еще раньше - в Иерусалиме; они происходят из еврейского духа и тех разновидностей христианства, которые произошли из восточных пустынь и германских лесов при встрече с варварским миром»¹.

В одном из позднейших примечаний к «Трем политическим идеям» Моррас пишет об угрозе «теистического лицемерия», угрозе бегства в sentimentalный религиозный фанатизм. Деизм еще хуже с его духом чувствительности, со вздохами дам по поводу «природы», «естественности». Протестантизм был возвратом к ветхозаветным пророкам, он впитал в себя «яд мистики», которая антицерковна и антисоциальна по самой своей сути. Католицизм хорош именно тем, что он «организует идею Бога, а тем самым удаляет этот яд»². На пути к Богу оказывается множество посредников, ими полнятся земля и небо. Монотеизм сохраняется, но он задает гармоничный и осмысленный космос. Если Бог и разговаривает с верующим католиком, то между сердцем и Богом стоят епископы, доктора церкви. Иначе говоря, имеются признанные авторитеты, иерархия во главе с папой. Все это мешает приписывать Богу собственную низость, да еще и оправдывать ссылками на Бога бунты сволочи: «...католицизм предлагает единственную идею Бога, терпимую ныне в хорошо упорядоченном государстве.

желает подчиняться, то у теоретиков оно принимает не менее гибельную и более универсальную форму: всякий желает учить и никто не желает слушать». В письме генералу Бонне Конт писал: «На протяжении тех тридцати лет, что я держу в руках философское перо я всегда считал народный суверенитет навязчивой мистификацией, а равенство - подлой ложью». Иными словами, Конт был привлекателен для Морраса не только как эмпирик-позитивист, но и как политический единомышленник.

¹ *Maurras Ch. Oeuvres Capitales*. - Т. II: *Essais politiques*. - P. 33.

² *Ibid.* - P. 89.

Прочие могут стать угрозой обществу. У древних израильтян пророки, избранные Богом помимо священства, были источниками беспорядка и волнений»¹. После того, как евреи лишились храма, они сделались «агентами революции». От еврея происходит протестант с его монотеизмом, профетизмом и анархией (начиная с анархии в мыслях). Там, где нет церкви со строгими правилами, идея Бога просто опасна, а католицизм прославляется Моррасом именно потому, что сохранил многие черты язычества, а тем самым и нейтрализовал «яд» христианства.

Лютер прервал Возрождение, Лютер, да и вся Реформация - наследники варвара Арминия. Революционная идеология во Франции проистекает не от Вольтера и Монтескье, которые хоть и оказались под влиянием протестантской Англии, но остались верны духу классицизма, были людьми «классической выучки». В неистовой критике Руссо слова «варвар» и «паразит» являются у Морраса еще самыми мягкими. Человек у Руссо - помесь преступника, дикаря и безумца. Руссо принес дух протестантизма, который отрицает монархию и желает республики². Он же был творцом романтизма. В книге «Женский романтизм. Аллегория беспорядочного чувства» Моррас определяет романтизм как германское явление, заразившее другие страны.

Франция - страна классицизма, она держится его с конца средневековья. Несравненный вкус во Франции, унаследованный от Греции, отличает ее от всех прочих народов. «Вся Европа в сравнении является варварской; и с тех пор, как французское влияние уменьшилось... стало возрастать всеобщее варварство». Посредственность англосаксов, вредное влияние немцев связываются как с их непроходимым варварством, такие протестантизмом. «Немцы - лишь варвары, и лучшие из них это знают. Я не

¹ *Maurras Ch. Oeuvres Capitales*. - Т. II: *Essais politiques*. - P. 90.

² Стоит напомнить, что неизменно порицаемый Руссо все же не был большим поклонником демократии, полагая, что эта форма правления возможна лишь в незначительных по своим размерам государствах, да еще писал: «Прибавим, что нет Правления, столь подверженного гражданским войнам и внутренним волнениям, как демократическое или на родное... Если бы существовал народ, состоящий из богов, то он управлял бы собою демократически. Но Правление столь совершенное не под ходит людям» (*Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре*. - М., 1998. - С. 256).

говорю уж ни о москвитях, ни о татарах», - писал Моррас в «Мои политических идеях». Единственным немцем, которого он сочувственно ставил рядом с французами, был Гете, хотя высоко оценил и «Речи к немецкой нации» Фихте - в условиях потерпевшей под Йеной крушение Пруссии он показал тем самым, что должен делать патриотически настроенный мыслитель.

Есть цивилизации и есть Цивилизация, начавшаяся в Греции. Рим просто ее расширил, распространил. Ренессанс был возвратом к ней, Реформация прервала «это великолепное развитие... Бесстрастные историки и философы начинают точно оценивать, какое отступление Цивилизации скрывается под именем Реформы». Во Франции это варварство («под лживым именем освобождения») было остановлено, короли и народ имели здравый рассудок и мужество в борьбе с гугенотами - благодаря этому последовало блестящее развитие Франции в XVII и даже в XVIII вв.; «Франция стала законной наследницей греко-римского мира. Благодаря ей мера, разум и вкус царили на нашем Западе; помимо варварских цивилизаций тем самым продолжала существовать истинная Цивилизация, существовать вплоть до рубежа нашей эпохи». «Несмотря на Революцию, которая представляет собой лишь продолжение Реформы, осуществленной в самых жестоких формах, несмотря на романтизм, который является просто литературным, философским и моральным продолжением Революции», во Франции еще многое от этой Цивилизации живо - «наша традиция лишь прервана, но наш капитал сохранился»².

Моррас насмешливо пишет о «дамском романтизме» с его «чувствами», но за ним различает серьезное явление - сам принцип романтизма, который лежит в основе революционной анархии. Эстетические суждения у него суровые: скажем, принципы эстетической теории Малларме «полностью применимы к виду животных, обходящихся без высших функций разума»³. Романтизм - не обязательно страсть и экзальтация, тут больше «настроения», «каприза», преобладает «ячество». Много меланхолии, но много и кокетства - не только у дам, но и у романтических авторов, вроде Шатобриана, Гюго, Мюссе, Бодлера, Верлена. Они хотят понра-

¹ *Maurras Ch. Mes idees politiques.* - 1937. - P. 82.

² *Ibid.* - P. 84.

³ *Maurras Ch. Oeuvres Capitales.* - Т. II. - P. 214.

виться, они принаряжаются и подкрашиваются. Эстетика характера противостоит эстетике гармонии классицизма. В последней - разум эллинов, а варвары держатся страстей, характера. Женщины свои страсти умело прячут, а эти выставляют их напоказ. «Природа была мудра, скрывая иные побуждения и порывы в полутени бессознательного. Наши менады были настолько безумны, что бесстыдно вынесли их на свет»¹. В заключение Моррас взывает к богине Минерве: именно Афина является богиней мудрости, меры, вкуса, ритма, гармонии. Эта покоящаяся на разуме цивилизация не утеряна безвозвратно; от нас зависит - будет ли это дерево плодоносить.

Романтизм и в философии, и в поэзии, и в романах имеет один и тот же исходный принцип - абсолютной суверенности человеческой воли, причем сама воля выводится из хаоса чувств. «Дождались безумной Ксантиппы, присвоившей себе права Сократа, и Сократа, узурпировавшего права Юпитера»². Романтизм есть антигосударственный индивидуализм, анархизм. «Романтизм - это Революция. Это порождение Руссо свергает то, что было вверху и протаскивает наверх то, что было внизу»³. В области художественного творчества романтизм претендовал на то, что даровал творцу свободу. На деле вторичные или даже десятистепенные для художника ценности были поставлены на первое место. И классический художник знал, что он свободен, но для того, чтобы творить прекрасное, он должен соблюдать правила и законы. Романтик отправляет на свалку все правила, все каноны - важна лишь его субъективность. В юридическом смысле, конечно, художник свободен, но он совсем не свободен от законов предмета своих занятий. Романтическая свобода имеет чисто негативный характер; свободой называют безмерность, захваченность темными чувствами, словом - анархию и произвол.

То же самое происходит и в политике. Свобода в понимании классицизма не есть свобода «либеральная», она имеет четкие границы. Свобода революции есть свобода негативная, свобода отрицания. Принципом для нее является субъективность, индивидуальность. «Индивидуальная свобода, социальный индивидуализм -

¹ *Maurras Ch. Oeuvres Capitales.* - P. 233/

² *Ibid.*-P. 37.

³ *Ibid.*-P. 42.

таков словарь этих доктрин прогресса»¹. Они обещают всеобщее счастье для доверчивой толпы, но ссылки на «разум» тут явная ложь. Индивидуальная свобода, эгоизм не могут сделаться основаниями государственной жизни. Платить по счетам приходится потомкам революционеров, и платить дорого. Никакого «рационализма» в Революции не было. Конечно, идеи были абстрактными - идеи человека и его прав, но как раз с точки зрения разума эти идеи ложные. Если уж писать общую формулу, то ею никак не будет равенство всех со всеми; утверждения о воле индивидов, предшествующей государству, фантастический «общественный договор», по которому государство возникает - разве это отвечает разуму? Идеи революции были насквозь иррациональными, ложными и разрушительными. Именно разум противостоит революции с ее иррациональной стихией.

Собственно говоря, «Будущее интеллигенции» Морраса примыкает к его литературоведческим работам, ведь «интеллигенцией» он называет литераторов, объявивших себя «умом и совестью» нации. Хотя он начинает книгу с утверждения, что понимает под «интеллигенцией» то же, что имеется в виду в России, взгляд у него неизбежно иной, чем у авторов «Вех», - подписываемые французскими интеллигентами петиции в защиту Дрейфуса все же отличны от широкой поддержки революционного террора. Впоследствии он будет ссылаться на негативный опыт России: «Партия Интеллигенции» была вырезана в результате развязанной ею революции (он ссылается на русских эмигрантов, которые в 1922 г. подсчитали число загубленных интеллигентов - 355 250 человек). Интересы революции совсем не интеллектуальны, совсем не «разумны», а интересы интеллекта не революционны. Серьезному познавательному усилию потребен порядок, ему нужна традиция. Угроза революции - это и угроза интеллектуальному творчеству, угроза разумному человеку вообще. «Тот, кто продолжает выводить двойную линию романтизма и революции, открывает перед Разумом лишь одну перспективу - свободу смерти»². Трудно сказать, были ли знакомы Струве или Гершензон с вышедшей в 1905 г. книгой Морраса, но в России тема «беспоч-

¹ *Maurras Ch. Oeuvres Capitales.* - P. 48.

² *Ibid.* - P. 52.

венности» интеллигенции до сих пор не утратила внимания публицистов самой разнообразной политической ориентации.

Во Франции слово «интеллектуал» только входило в те годы в оборот, причем употребляли его чаще всего в негативном смысле «антидрейфусары». Во Франции уже существовала своего рода «социология интеллектуалов»: можно сказать, что начало ей положил Наполеон своим презрительным суждением об «идеологах»; Токвиль писал о роли литераторов в генезисе Революции. Моррас прослеживает историю этого небольшого слоя «властителей дум» - нет смысла пересказывать это произведение. Отметим только три момента этой небольшой книги.

Во-первых, Морраса можно считать одним из основоположников «социологии интеллектуалов», поскольку он связывает формы знания и деятельности с социальными детерминантами. В дальнейшем консервативные авторы (Шумпетер, Гелен, Шельски) будут аналогичным образом сочетать критику левых интеллектуалов с социологией знания. «Свободно парящей» в мире идей интеллигенции не существует, она всегда связана с интересами больших социальных групп. Уже в этом эссе Морраса обнаруживается тезис о «смерти» интеллектуала, который получил детальную разработку в последнее время (скажем, у М. Фуко). Массы не нуждаются в поводырях, указующих им на некое «светлое будущее», им не нужны такого сорта проповедники, чтобы что-то знать и делать, они недурно умеют выражать свои устремления.

Во-вторых, Моррас обратил внимание на важный для обоснования и легитимации демократии элемент: начиная с Просвещения, свободе мнения, публичности придавалось решающее значение в обосновании парламентской демократии. Отказ от кабинетной политики абсолютной монархии, от тайной дипломатии обосновывался именно отсутствием публичного обсуждения. Политика должна находиться под контролем общественного мнения, а потому свобода слова является условием всех прочих свобод. Моррас показывает, что свободы могут провозглашаться, но услышанными будут голоса только тех, за кем стоит реальная власть денег: общественное мнение успешно формируется, а имеющий отличные от требуемых воззрения журналист быстро потеряет свое место. Разумеется, о всевластии денег говорили с давних времен; Григорий Богослов писал: «Когда говорит золото, тогда все другие слова не действительны. Оно умеет убеждать, хотя и не имеет языка».

Но в древности и даже в сравнительно недавнем прошлом свобода слова не была важнейшим средством легитимации политического режима. Сегодня, когда средства массовой информации находятся под контролем либо государства, либо крупного капитала, массовое «промывание мозгов» стало очевидным. Я не стану вспоминать о скандальных российских референдумах и выборах, но и на Западе ситуация немногим лучше. Последняя прижизненная статья такого апологета «открытого общества», как К. Поппер, была посвящена необходимости хоть какого-то общественного контроля над каналами телевидения - она была написана сразу после «телепутча» Берлускони.

В-третьих, Моррас ставит перед интеллектуалами альтернативу: служить либо Деньгам, либо Крови. Как монархист он имеет в виду прежде всего династию, но подразумевается и народ, нация. В этом его рассуждения чуть ли не буквально совпадают с позицией Ленина, только тот писал о «народных массах» (этот термин вообще употреблялся им чаще, чем слово из марксистского лексикона - «пролетариат»). Иного выбора просто нет: либо быть холопами денежных мешков, либо служить собственному народу. Но у Морраса единственным ограничением власти капитала является опирающаяся на традиционные элиты власть государя. А там, где монархия навеки ушла, носителем такой власти может стать уже не опирающийся на традицию вождь. И ряд теоретиков фашизма, и многие консерваторы приходят в это время к той или иной версии цезаризма. Достаточно вспомнить о заключительном разделе «Заката Европы» Шпенглера: финальную схватку между деньгами и кровью он описывает в терминах Морраса, но стоит уже на позициях не роялизма, а цезаризма. «Появление цезаризма сокрушает диктатуру денег и ее политическое оружие - демократию... Меч одерживает победу над деньгами, воля господствовать снова подчиняет волю к добыче... Силу может ниспровергнуть только другая сила, а не принцип, и перед лицом денег никакой иной силы не существует. Деньги будут преодолены и упразднены только кровью»¹.

Моррас указал этот путь, но сам по нему не пошел, оставшись до самого конца монархистом и даже ничему не научившись за долгую жизнь - в тюремной камере он будет писать то же са-

¹ Шпенглер О. Закат Европы. - М., 1998. - Т. 2. - С. 538.

мое, что писал в 1900 г. В «Будущем французского национализма» (1950) он повторяет те же тезисы о господстве финансовой олигархии, о навязанной чужеземцами власти (IV республика), но стоит на своем: Pour la France vive, vive le Roi! Чтобы быть сильной, процветающей суверенной страной, Франция должна вернуться к монархии, должна избавиться от наследия Революции и ее идей.

Вся политическая деятельность Морраса определялась этой целью, это было программным требованием «Аксьон франсез». Моррас возглавлял это движение, но не был его «вождем» в полном смысле слова, поскольку оно не стало даже настоящей политической партией. Вокруг одноименной газеты (сначала - журнала) сложилась сеть институтов, вроде своего рода политической школы, где читали лекции, или даже организации поддерживающих движение женщин, но жесткой дисциплины не было, как не было настоящего исполнительного органа.

Газетой, а тем самым и движением руководила группа лиц; до Первой мировой войны всеми организационными вопросами занимался Вожуа, в палате депутатов «Аксьон франсез» представлял Леон Доде, он же был главным публицистом газеты; Пюжо руководил «королевскими молодчиками» (так у нас принято переводить Camelots du Roi), молодыми распространителями газеты, которые в то же самое время были не прочь подраться, устроить обструкцию какому-нибудь преподавателю в Сорбонне, освистать и оскорбить политика из враждебного лагеря. Более или менее единолично Моррас стал руководить «Аксьон франсез» в 1920-е гг., но и тогда в принятии решений участвовали Доде, Бэнвиль и еще несколько человек. Ничего похожего на Fuhrerprinzip в «Аксьон франсез» не было, да и не могло быть: формально у монархической организации вождем должен был бы являться претендент на престол. Так как он куда больше любил женщин, спорт и охоту в Африке, то широкие полномочия были переданы Моррасу. В 1930-е гг. новый претендент на престол вступит в конфликт с Моррасом и монархическая организация лишится связи с династией.

«Аксьон франсез» получало поддержку прежде всего католической церкви и связанных с нею выходцев из дворянства и буржуазии. Они покупали и читали газету, они голосовали за многочисленных депутатов «Аксьон франсез» в палате. Это сказыва-

валось на стиле, на том, что сегодня называют «политической культурой» движения. Сопоставления «Аксьон франсез» с разного рода тоталитарными партиями всякий раз выявляют отличия, а тем, кто желает доказать обратное (в частности Нольте), приходится буквально насилловать исторический материал. Единственное сходство заключается в том, что у движения была небольшая группа молодых активистов, Camelots du Roi, которые прибегали к насильственным действиям, провокациям. Но полицейские отчеты в то самое время, когда к подобным действиям «королевские молодчики» прибегали чаще всего, т.е. в годы перед Первой мировой войной, показывают, что на всю Францию участников такого рода акций было 180 человек - вряд ли это может дать убедительные доводы для сопоставления с миллионами штурмовиков. К тому же активисты «Аксьон франсез» никогда не прибегали к террору, даже в ответ на убийства их соратников анархистами (в 1920-е гг. анархистами был убит ближайший сотрудник Морраса и главный финансист «Аксьон франсез», М. Плато).

Словесные оскорбления президента и депутатов все же никак не назвать «террором». Пишущие о политическом насилии «левые» чаще всего помнят о немногочисленных выходках «королевских молодчиков», но предпочитают умалчивать об атмосфере насилия, создававшейся хоть бросавшими бомбы анархистами (ими был убит, среди прочих, президент Карно), хоть ведомыми социалистами рабочими. Старомодность организации, в которой преобладали выходцы из дворян и городских буржуа, хорошо видна и по поведению вождей. Моррас несколько раз дрался на дуэли, однажды был ранен (представим себе Гитлера, вызванного кем-нибудь из оскорбленных либералов на дуэль); во времена «Народного фронта» Моррас провел год в тюрьме за свои статьи с угрозами по адресу членов кабинета, тогда как Гитлер сидел за попытку вооруженного путча. Несмотря на желание вовлечь в движение рабочих и крестьян, их в «Аксьон франсез» почти не было, зато на 1920-е гг. в кругах «золотой молодежи» было чуть ли не *comme il faut* какое-то время разносить газету и участвовать в потасовках с левыми. Моррасу удавалось привлекать и куда более серьезных молодых людей: членами «Аксьон франсез» побывали многие литераторы и мыслители. Но чаще всего они вскоре отходили от движения: привлекая своей критикой существующего политического режима, Моррас затем отталкивал догматизмом. Ряд интел-

лектуалов - Бразиллак, Дрие де Рошель - шли направо, к фашизму; Маритен сменил «интегральный национализм» на «интегральный гуманизм».

Собственно говоря, Моррас никогда не был настоящим политическим вождем. Он был прекрасным полемистом и Жорес советовал своим соратникам: «Главное, не вступайте с ним в дискуссию». Однако с массами он говорить не умел, и связано это не только с его глухотой, а с тем, что Моррас - человек идей, не понимающий, что вызывает эмоциональный отклик толпы. У "него отсутствовала и та интуиция крупных политиков, которые обладают чутьем к выгодному моменту: «Вчера было рано, завтра будет поздно...» Зимой 1934 г. республика могла пасть, власть могла перейти в руки правых - Моррас вообще не участвует в миллионной демонстрации в Париже, он завершает книгу. К тому же полковник Ла Рок его не устраивает, он не является монархистом, он позволяет себе критически высказываться об «Аксьон франсез». Если Моррас и контролировал «Аксьон франсез», то лишь в идеологическом отношении: несогласные с его доктриной должны были покинуть движение. В том числе и поэтому оно никогда не могло стать массовой партией, которая не терпит жестких догматических границ. Глава такой партии не станет разрушать ее базис из-за своих интеллектуальных предпочтений, тогда как личный конфликт Морраса с христианством привел к осуждению «Аксьон франсез» папой Пием XI, к формальному запрету католикам иметь дело с Моррасом, что привело к резкому ослаблению движения¹. Моррас был идеологом, доктринером, а не прагматичным политиком.

Наиболее четко Моррас изложил свою доктрину в поздней работе «Мои политические идеи (1937). Основополагающий принцип Морраса, ставший лозунгом «Аксьон франсез», формулируется коротко: «Сначала политика» («Politique d'abord»). Это не означает того, что политика может подменять религию или эстетику, политика - средство, а не самоцель. Чтобы добраться до конечного пункта, нужно избрать наилучший путь, чтобы попасть в цель, нужно брать в руки лук и стрелы. «Когда мы говорим «сначала

¹ Для сравнения можно вспомнить о том, что не жаловавший христианство Гитлер изгнал из НСДАП антихристианского публициста Динтера, который мешал получать на выборах голоса католиков и протестантов.

политика», то мы говорим тем самым: политика первенствует в порядке времени, но не в порядке достоинства¹. В «Политическом и критическом словаре» Моррас указывает на первенство политики из-за нужды человека и общества в защите. «Сначала политика» это - «принцип, который во временном порядке предшествует всем остальным, а именно, это принцип защиты и охранения, принцип обороны... Он самый человеческий из всех, поскольку человека нужно для начала защитить, а уж затем им управлять»². Но для того, чтобы применять этот принцип, следует четко представлять себе область и объект применения. Политической практике должна предшествовать теория.

Уже исходный пункт этой теории - понимание природы человека - содержит полемику с Просвещением и, прежде всего, с Руссо. Человек - политическое, общественное животное, он никогда не бывает в одиночестве. Начинать поэтому нужно не с Робинзона, но с семьи, с сотрудничества в работе. В семье нет равенства, дети находятся в зависимости от взрослых; неравенство не есть продукт цивилизации, как думал Руссо, но сама цивилизация, само общество проистекают из неравенства людей. Начало обществу кладет родительский инстинкт, защита слабого, а потому истоком общественной организации оказывается неравенство слабых и сильных. «Общество может склоняться к равенству, но для биологии равенство встречается только на кладбище»³. Род и племя, союз родственников, кланов столь же изначально противостоят другим - это врожденные характеристики человека. Мир делится на «Мы» и «Они», патриотизм и даже национализм укоренены в человеческой природе. Это - основа общества. «Не говорите, что это может привести к внешней войне; это избавляет нас от гражданской войны, войны наиболее жестокой»⁴.

Общество нуждается в порядке. «На всех уровнях своего бытия оно слабеет, когда ослабевает порядок; оно распадается, когда порядка нет»⁵. Порядок рождается из авторитета, он направ-

¹ *Maurras Ch. Mes idees politiques.* - P. 95.

² *Dictionnaire politique et critique.* - P.: Cahiers Charles Maurras. - Т. 4. - P. 26.

³ *Maurras Ch. Mes idees politiques.* - P. 95.

⁴ *Ibid.*-P. 18.

⁵ *Ibid.*-P. 36.

ляется инстинктом, в том числе и инстинктом масс - стремлением их быть управляемыми и хорошо управляемыми. Моррас иногда ссылается в связи с этим на освоенных еще в юности Аристотеля и Фому Аквинского. Целью государства является «благая жизнь», а она невозможна при безвластии. Аквинат представил монархию как идеальный политический строй, тогда как «тиранией» для него, в отличие от Аристотеля, оказались и аристократия, и демократия. Даже инвективы Морраса против республики как тирании восходят к Фоме: тирания не обязательно предполагает власть одного человека, важно то, служит ли власть целому или корысти индивида, сословия, класса. Олигархия есть тирания группы богатых, демократия - власть одного класса, навязывающего свое господство всему народу. Именно это ведет к беспорядку, к классовым конфликтам. Французская республика для Морраса есть тирания Денег, ряда групп («анти-Франции»), которые захватили власть над подавляющим большинством и эксплуатируют его в своих корыстных целях. Поэтому он видит в республике не просто неудовлетворительный режим, но всевластие хаоса, метафизическое зло, а потому часто ссылается на суждения аббата Лантеня о республике из романа Франса: «она нерушима, ибо она сама - разрушение. Она - разъединенность, она - непостоянство, она - многоликость, она - зло».

Три революционные идеи - это идеи свободы, равенства и братства. Но свобода тут разрушительна — законы перестают быть вечными, они делаются «банальными эманациями произвола». В действительности свободны в демократии только немногие богатые. Равенство тут таково, что низшие и худшие получают дорогу; в экономике это означает, что не производители, а потребители стоят на первом месте - ленивые, «паразиты бюрократии». Братство предстает как идеал космополитического режима, «филантропического ража». Провозглашается мир между нациями, но революционные устремления при этом направлены против собственных сограждан, их толкают к гражданской войне - несогласные «реакционеры» никак не относятся к «братьям», с ними ведут настоящую войну. Франция заразила всем этим другие нации, поэтому «французскими идеями» считают весь этот набор фраз. В действительности же это никакие не «идеи», но «анархия и варварство». «Священный Союз Плебса» всех стран ссылается на Францию, где уже имелся «триумф революционной сволочи» (а

потому Францию по всему миру недолюбливают друзья порядка). Моррас иронически пишет о «Свободе, Равенстве, Братстве», начертанных на стенах министерств, школ, мэрий и даже церквей. Украсить такими надписями камни не так уж сложно. Но если бы повсюду расклеили афиши с утверждениями, что каждый француз - миллионер, то разве они стали бы таковыми? Право на миллион есть у каждого, то же самое можно сказать и о свободе. (Как заметил Достоевский в «Зимних заметках о летних впечатлениях» по тому же поводу: «Человек без миллиона есть не тот, кто делает все что угодно, а тот, с которым делают все что угодно») «Свобода безумца называется безумием, свобода глупца - глупостью, свобода бандита - бандитизмом, свобода предателя - предательством и т.д.»¹.

В действительности же свобода редка. Она крайне незначительна у дикаря, не было никакого «естественного состояния» с полной свободой и последующего ее отчуждения. «Свободы нет в начале, она приходит под конец. Ее нет в корнях, но она появляется как цветы и плоды человеческой природы, лучше сказать - человеческой добродетели. Мы тем свободнее, чем мы лучше»². Тот, кто говорит «свобода», говорит тем самым «авторитет». Свобода есть власть, могущество (т.е. потенция); тот, кто ничего не может, тот и не свободен. Если за тобой следуют другие, если ты наделен авторитетом, то это реализация потенции. Свобода отца семейства - его авторитет в семье, свобода вероисповедания связана с авторитетом исповедуемой религии. То же самое можно сказать о свободах ассоциаций, коммун, провинций: они связаны с их реальной властью, с их силой, а не декларациями прав. Бессильное право остается чисто декларативным; права вообще связаны с обязанностями, с долгом, с привилегиями, с властью, с мощью. Отдалите человека от семьи, от ремесла, от нации, скажите ему, что он - король, что он - Бог, что он натворит в результате? Моррас пишет об иллюзорности прав и свобод в «либеральной догматике» Деклараций, выражающих лишь «подлинное безумие революционного индивидуализма, будь он политическим, социальным или моральным»³.

¹ *Maurras Ch. Mes idees politiques.* - P. 50.

² *Ibid.*-P. 50.

³ *Ibid.*-P. 51.

Без собственности человек обречен на смерть, она представляет собой «естественную защиту человека». Владеть - значит располагать собой, значит обладать силой сопротивления по отношению к другим, значит иметь возможность на них воздействовать. Собственность должна передаваться по наследству - без этого нет традиции. Традиция мыслится как критичная (поскольку без мысли прошлое мертво). Традиция - не инерция прошлого. Противопоставление разума и традиции бессмысленно - такого рода оппозиции суть «космогонии маленьких детей», они напоминают противопоставления масла и уксуса, сладкого и горького, жидкого и твердого. Цивилизация есть «капитал, причем капитал передаваемый», а это невозможно без разума. «Капитализация и традиция - вот два неотделимых от идеи цивилизации термина». Природа человека не только материальна, но и моральна, она формируется цивилизацией. Долг каждого перед предками огромен. Чем богаче цивилизация, тем более развит индивид, тем больше у него возможностей, но тем больше его долг.

Не существует прогресса «вообще», есть «прогрессы» в разных областях; нет автономного улучшения человека, его ценностей. Человек в истории практически не меняется, сумма счастья не увеличилась. Есть восходящие и нисходящие движения, причем рост экономический и технический может сопровождаться нравственным и эстетическим оскудением. Идея единого Прогресса - результат антропоморфизма, словно время автоматически несет с собой возвышение, словно человечество есть единый организм. Прогрессистская вера есть мистика, а не «наука», хотя она часто узурпирует последнее название. Прогрессистам, иронически замечает Моррас, следовало бы поменьше задирать нос перед людьми простой религиозной веры, поскольку сами они ничем не отличаются.

Политика - именно наука, она отвергает такого рода мистику, она изучает законы обществ. Эти законы - не законы становления, динамики, но законы статики. Нет закона эволюции человеческого рода или западной цивилизации, по которым можно предсказать будущее. Нет «Закона Истории», но есть законы, устанавливающие связи между причинами и следствиями. Невозможно предсказать будущее человеческого рода, но возможны точные прогнозы (подобно тому, как небольшая тучка на горизонте указывает на надвигающуюся бурю). Законы суть корреляции явле-

ний; вместе с появлением одного фактора неизбежно появляется и другой. «Если правит Число, то за ним последует власть Денег; если явилась демократия, то обязательно появится плутократия». Вместе с демократией неизбежно появляется бюрократическая централизация (столь же неизбежно, как и то, что вода кипит и испаряется при нагревании). Законы социальной эволюции сомнительны, законы статики плодотворны, поскольку они выявляют константы. Конечно, здесь нет чистоты естественнонаучного эксперимента, имеется лишь исторический опыт. Однако связь между фактами можно устанавливать, и они подлежат объяснению. Так, то, что демократия способствует централизации, объясняется тем, что демократия связана с голосованием на выборах, а голоса можно получать только за счет обещаний голосующим, за счет контроля над их мнениями, убеждения, пропаганды и т.п. Чтобы не погибнуть, демократия должна потихоньку прибирать к рукам все те свободы, которые ею же были громогласно провозглашены.

«Постулатом позитивной науки является то, что общества суть факты природы и необходимости», а потому стоит избавиться от всяких сказок о «договоре», «всеобщей воле», полученной в результате слияния волеизъявлений самостоятельных субъектов. Воле предшествует порядок вещей - климат, среда, наличие удобных почв и полезных ископаемых и т.д. Поэтому Монтескье с его позитивным описанием разных форм правления противопоставляется Руссо и «Декларации прав человека и гражданина». Общественные законы не зависят от произвола людей, но отражают необходимость. Политическая наука идет за фактами, она признает, что в истории все изменчиво: «Мы - не метафизики, мы знаем, что потребности могут измениться»². Но при всей изменчивости человека в истории самое важное остается тем же самым. Всегда нужно от чего-то отказываться, что-то сохранять - критический разум должен исследовать прошлое, отбирать лучшее, этим они отличаются от ума революционного, желающего, как это поется в «Интернационале», «сделать из прошлого чистую доску» (*Du passe faisons table rase*). Моррас называет это «программой амнезии».

Политическая наука выясняет, каковы условия процветания обществ, для их здоровья. Есть явления, ведущие к упадку, к бо-

¹ *Maurras Ch. Mes idees politiques.* - P. 104.

² *Ibid.* - P. 109.

лезни - этим верифицируются принципы. Революция ведет к упадку, демократия ведет к упадку - достаточно посмотреть на Афины V в. до н.э. «Равенство нигде не способно царствовать, но навязчивое желание равенства, стремление к нему создают политический дух, который диаметрально противоположен жизненным интересам страны: демократический дух убивает военную дисциплину, тогда как народ нуждается в армии; распространяя зависть, демократический дух убивает гражданское согласие, сердечность, мир между частными лицами, в то время как народ нуждается в согласии, мире и сердечности»¹. В развитом обществе индивиду нужны права, причем сложная их система; но когда провозглашается равенство прав, то это просто ложь. Общество всегда предшествует человеку, человек всегда в той или иной ассоциации.

Общая анархия XIX в. привела к индивидуализму, к искажению самого понятия человеческого «Я»; исходно человеческое «Я» - это «Мы», либо у него вообще нет никакого смысла. Не индивиды, но семьи являются простейшими элементами общества - они делятся не одно поколение, они требуют условий для воспроизводства. Сфера нашего личного вообще ничтожна - наши предки дали язык, основные установки, затем были родители, учителя, книги, картины и т.д. Моррас против аналогий с организмом, клетками которого являются индивиды. Но речь идет и не о свободной ассоциации индивидов. «Мы не выбирали ни нашей крови, ни нашего отечества, ни нашего языка, ни нашей традиции. Все это навязало нам то общество, в котором мы родились»². Мы либо принимаем это наследие, либо против него бунтуем, но у нас нет выбора прошлого. Права идут от общества к ассоциации, от нее - к семье, и только потом речь может идти о правах индивида. Но род не должен гибнуть из-за прихотей индивида. «Права человека» - звучат они очень приятно, только изолированный индивид никогда не может реализовывать записанные за ним права. Индивидуализм совместим с этатизмом. Человек остается один на один с государством, которое желает быть единственным арбитром общественной и частной жизни; поэтому оно желает иметь дело с разбеденными индивидами. Индивидуализм - вот религия «республики рантье». Они не желают работать, предпочитают не иметь

¹ *Maurras Ch. Mes idees politiques.* - P. 155.

² *Ibid.* - P. 118.

детей; спекуляция - вот единственное занятие в плутократии. Зато, расставшись с провинциями, общинами, ассоциациями, индивид оказывается один на один с Государством. Для счастья и защиты каждого «нет ничего более важного, чем эти вторичные и промежуточные общества, которые дают гарантии семейному очагу, местная жизнь, профессия»¹.

XX век кладет конец либеральной анархии и иллюзорному индивидуализму, это - век профсоюзов, корпораций, акционерных обществ, «в XX веке они будут подобны тому, чем были соборы в XII веке». Сильное государство нуждается в сильном обществе, т.е. в свободных автономных ассоциациях. «Общий интерес» - не сумма индивидуальных; их как раз следует вычесть, чтобы остался интерес общий. Политика - это умение сочетать мощные индивидуальные и групповые интересы с общим. Его всегда отстаивают немногие, ибо немногие ради него готовы идти на риск, жертвовать своими интересами или даже приносить себя в жертву.

Государство ведет свое происхождение от семьи и в чем-то по-прежнему с нею сходно. Из поколения в поколение рождаются французами и принадлежат этой «семье». Разумеется, есть «приемные дети», но они имеются только потому, что есть «семья». Общество предшествует государству, поскольку семьи составляют общины, коммуны, конфессиональные и профессиональные ассоциации. Есть бесконечное множество групп, объединяющих людей по интересам - от интересов жизненно важных до прихотей. Человек не мог бы выжить без таких объединений - гражданское общество у Морраса является и первопричиной и конечной целью государства, ибо государство есть просто орган, «функционер Общества». Первоначально государство регулировало вовсе не дела индивидов, но отношения родов, корпораций. Исключения составляли либо преступники, коих следовало карать, либо герои, коих нужно было превозносить. Государство невелико - небольшая группа чиновников, армия. «Что же до остального, то нормальное государство под своим скипетром и под своим мечом дает возможность жить и действовать множеству небольших спонтанно возникающих организаций, автономных коллективов, которые существовали до него и у которых есть шанс его пережить, ибо они составля-

¹ *Maurras Ch. Mes idees politiques.* - P. 120.

ют истинную бессмертную субстанцию нации»¹. Цветущее многообразие таких организаций, а вместе с тем и человеческих типов к ним принадлежащих - со своими особенностями, со своими добродетелями - вот идеал Морраса. *Raison d'Etat* высится над ними, как то небольшое, что объединяет всех. Но там, где присутствует партийная система, этот общий для всех интерес исчезает, поскольку каждый ищет выгоды для себя (и лишь прикрывается всеобщим интересом). Партии разрывают государство, они выражают даже не частные интересы групп, но чаще всего личные интересы политиканов.

Стремление к добродетели и к личному спасению отлично от стремления к процветанию и благополучию общества. Мораль и политика в этом смысле различны. «Нет прямой связи между моральным совершенством и совершенством политических форм, поскольку последнее соотносится с объектами, которые чужды морали человека, вроде географических или экономических условий территории, на которой он проживает»². Политические и военные успехи зависят от моральных качеств, однако, «когда побеждает честный человек, то победоносна не его честность, равно как при победе подлеца одерживает верх не его подлость». Талейран был предельно циничен, но как дипломат он не знал себе равных - и тогда, когда он, по существу, толкнул Наполеона к убийству герцога Энгиенского, и тогда, когда он помог возвращению Бурбонов. Иначе говоря, делу Реставрации способствовал подлец по самым низменным мотивам, но от этого оно не утратило характер общественного блага.

По существу, за пределами моральных оценок для Морраса находится и война; такого рода оценки применимы к усилиям по установлению мира. Война рождается из естественной игры жизненных сил, она принадлежит «природе вещей», тогда как мир требует ума и энергии. Мир - это шедевр внешней и внутренней политики. «Пацифисты игнорируют ту цену, которую приходится платить за мир; они полагают мир чем-то данным, естественным, простым, самопроизвольно рождающимся на нашей планете. Но его следует создать. Это - продукт воли и человеческого искусства-

¹ *Maurras Ch. Mes idees politiques.* - P. 122.

² *Ibid.*-P. 127.

ва»¹. В «капусте» мира не найти, его нужно упорно добиваться, он требует жертв, ума, опыта наций. Его труднее сохранить, чем завоевать. Мир для Морраса вообще предпочтительнее войны, поскольку настоящий, стабильный порядок дает именно мир. Главный противник для него - не внешний неприятель, а тот, кто развязывает гражданскую войну ради передела материальных благ, отравляет сознание рабочих сказками о рае земном после такого передела, хотя рабочим-то ничего от него не достанется. Моррас пишет о роли иностранных держав, способствующих революции у своих противников. Когда эта революция развязана, то чужеземец приходит как желанный миротворец, кладущий конец гражданской войне и всяким безобразиям. Как еще проще завоевать чужую страну?

Моррас подвергает суровой критике конкурирующие политические доктрины - либерализм, социализм, анархизм. Либерализм с его политическим видением мира уравнивает всех, а потому уничтожает ранги, статуты, привилегии цехов, провинций, коммун. Сторонниками его естественным образом делаются посредственности, завистники, глупцы - а затем, в эпоху революции, и преступники. Анархисты (в отличие от социалистов и либералов) честны в своем стремлении разрушать: они хотят все перестроить, но в случае успеха получилось бы у них нечто примитивное, деградировавшее («разнести пакетбот, чтобы построить какую-то лодчонку»). На деле любая революция ведет не к упразднению власти, но к усилению централизованного административного насилия. Результатом либеральных революций стала бюрократическая централизация, тогда как анархизм может привести только к чудовищной деспотии. Социализм и коммунизм представляют собой попытки решить те проблемы, которые были поставлены либерализмом и демократией. Но государственный социализм переносит в сферу труда все то худое, что возникло в области политической в условиях демократии. Движение от политической демократии к «экономической демократии», т.е. к уравниловке есть неизбежное движение. «Разведенный водой коммунизм называется социализмом. Разбавленный социализм называется радикализмом, демократизмом, республиканизмом»². Политическое равенство, как это

¹ *Maurras Ch. Mes idées politiques.* - P. 142-143.

² *Ibid.*-P. 216.

показал еще Токвиль в «Демократии в Америке», ведет к равенству социальному, к претензиям плебса на равенство потребления независимо от труда. А из этого с неизбежностью следует то, что заявило о себе уже в афинской демократии: остракизм, изгнание Лучших, возлагание на богатых все новых и новых обязанностей, коррупция, утрата стимулов к труду и паразитизм черни, а затем обеднение и неизбежное крушение при столкновении с более сильным противником.

Истинная сила в эпоху демократии - сила денег. «Деньги ее избирают, ее создают, ее порождают». Без денег, как высшей силы, высшего арбитра, демократия просто свалилась бы в хаос. "Нет денег, значит нет газет. Нет денег, нет и выборов. Нет денег, нет общественного мнения. Деньги - вот родитель, вот отец вся-ой демократической власти, всех избранных властителей, всякой власти, находящейся в зависимости от мнения»¹. При всех криках 'свободах правят деньги, а сама власть продажна. У капитала имеется масса полезных функций, но его место - место слуги, а не господина. Там, где царство количества захватывает все, там, где правят деньги, неизбежен путь к неразумию и к преступлениям. Деньги любят все - и люди, и города, и режимы. Но есть режимы носительно от них независимые, и есть те, кто непосредственно находится на содержании. Тот или иной государь может быть коррумпированным, но его сменит другой. В демократии же, даже если избран человек лично добродетельный, ему не избавиться от зависимости от плутократии. Она является истинным сувереном в демократии. А так как мандат этого добродетельного человека зависит от воли денег, то он начинает их защищать - против всей нации.

Поэтому для преодоления власти денег нет иного средства кроме наследственной власти. Наследник может оказаться дурным, но демократия всегда дурна. «Беда не в самих выборах, но в избирательной системе, распространившейся буквально на все» . Плох и имущественный ценз, результатом является такая же некомпетентность, как и при общем избирательном праве, да еще сама плутократия избирает себе подобных. Проблема заключается не в числе голосующих, а в том, кого и по каким критериям изби-

¹ *Maurras Ch. Mes idées politiques.* - P. 161.

² *Ibid.* - P. 164.

рают. Ведь избирают потому, что нравится форма носа, потому, что красивы обещания, потому, что хочется поменьше работать, больше получать - избирают того, кто щедр на обещания. Все делается паразитами, желающими жить за счет раздачи государственных подачек («хлеба и зрелищ»). Защитники демократии - «чистые мистики», все у них держится на вере. Нет никакого «народного суверенитета», поскольку плебс никогда им не обладал и не обладает. Ссылки на «общественное мнение» лживы, поскольку это мнение изменчиво, им можно манипулировать. Моррас не против всеобщего избирательного права, он даже называет его «консервативным». Но избирать нужно не парламент, назначающий правительство, а местные органы самоуправления, ректоров университетов, провинциальные парламенты.

Всеобщие выборы вообще являются растратой времени и средств; анархия прикрыта словами из демократического лексикона о «свободных выборах», хотя за ними стоит воля олигархии (а иначе демократия бы вообще быстро развалилась), ибо реальна при демократии именно власть денежного мешка. «Равенство» есть лживый лозунг при действительном господстве плутократии. Но вместе с тем республика есть централизованная власть чиновников, вмешательство их во все провинциальные и корпоративные дела. Конечная цель демократии - социализм, «шедевр централизации и чиновничества» с раздутым государством, с прорвой ненужных людей, которым подыскивают теплые места в аппарате.

Экономика никогда не вызывала большого интереса Морраса и его суждения по поводу корпоративного государства были обрывочными. Он писал о ложности либеральной доктрины, согласно которой рынок есть самоорганизующаяся система. Эта доктрина неизбежно ведет к экономическим кризисам, финансовым скандалам, к хаосу. Функции государства не сводятся к жандармским, оно должно в известной степени регулировать экономику, защищать население, проводить протекционистскую политику. Классовое деление существует, но оно не самое важное; скажем, деление на профессии ничуть не менее значимо, чем принадлежность лавочника к «буржуазии», а инженера к «наемному труду». Злом является не существование пролетариата как такового, равно как злом не является и наличие капитализма. Пролетариев необходимо включить в общество, нужны профессиональные организации, корпорации; нужно, чтобы он был возвращен в лоно религии.

Рабочий вопрос решается на пути корпоративного государства, т.е. возврата к гильдиям и цехам. Проблема в том, что рабочие выброшены из общества, это люди «без сословия». Синдикализм следует поддерживать, но в рамках корпоративного государства.

Интерес к социализму начали проявлять еще многие предшественники Морраса из консервативного лагеря. Даже прямо обвинявший социалистов в «сатанизме» Доносо Кортес отмечал, что в сравнении с убожеством либеральной доктрины социализм содержит в себе «нечто гигантское и грандиозное», поскольку желает утвердить царство добра на Земле, не ограничиваясь посредственностью конституционалистов, избравших место между «тьмой и светом» и «думающих править без народа и без Бога»¹. Французские легитимисты еще в 1830-е гг. иной раз вступали в избирательные альянсы с тогдашними социалистами, а со времен Ле Пле и Латур дю Пина консерваторы пытались решать «рабочий вопрос». В начале XX в. Морраса интересовал французский синдикализм, в рамках «Кружка Прудона» происходили дискуссии с Сорелем. В те годы некоторые забастовки рабочих поддерживались «Аксьон франсез». Но из дискуссий такого рода практически ничего не вышло: рабочих ничуть не интересовала монархическая идея, а корпоративное государство со средневековыми цехами и гильдиями явно не подходило для тех, кто желал уменьшения 12-часового рабочего дня. После Первой мировой войны всякие разговоры о социализме в «Аксьон франсез» прекратились, а те, кто по-прежнему желал воспользоваться рабочим движением для «правого дела», порвали с Моррасом и стали образовывать фашистские партии. Первым раскольником был Жорж Валуа, который прямо ссылаясь на успешный опыт Муссолини и даже сформулировал программу посредством чуть ли не химической формулы: «Национализм + социализм = фашизм». Но фашистами были люди уже совсем иного склада ума, они принадлежали к другому поколению.

Для Морраса социализм плох, пока он выступает как интернационализм и пацифизм на манер Жореса, он хорош, когда стремится позитивно решать «рабочий вопрос» на пути синдикализма. То, что профсоюзы являются консервативной силой, далекой от

¹ Cortes J. Donoso. Ensayo sobre el Catolicismo, el Liberalismo y el Socialismo considerados en sus principios fundamentales. - Madrid, 1949. - P. 125.

всяких революционных устремлений, хорошо понимали не только революционеры, вроде Ленина, который особенно негодовал по поводу «рабочей аристократии». Сошлемся хотя бы на мнение несомненного либерала Р. Арона, одного из наиболее тонких политических мыслителей XX в., который писал: «Фундаментальной консервативной силой развитых индустриальных обществ являются профсоюзы рабочих»¹. Революции сегодня невозможны (или, по крайней мере, маловероятны) именно из-за сугубого консерватизма профсоюзов, желающих постепенного улучшения благосостояния, знающих, что всякие революционные потрясения ведут к разрушению средств производства, к разладке системы, которая обеспечивает высокий уровень жизни квалифицированных рабочих. Франция представляет собой исключение, поскольку в ней лишь 20 процентов организованных рабочих, в основном в прокоммунистических профсоюзах, тогда как в других странах Европы (ФРГ, Скандинавия) профсоюзы - главная антиреволюционная сила. Этим пытались воспользоваться французские фашисты, причем активнее всего не выходцы из «Аксьон Франсез», а покинувший ЦК французской компартии Дорио. Моррас создавал свою доктрину в ту эпоху, когда социализм обладал «человеческим лицом»; кроме того, марксизм во Франции долгое время не получал широкого распространения, с ним соперничали куда более «либертарные» доктрины. Фашизм был реакцией на совсем другую эпоху, когда реальной угрозой стала «диктатура пролетариата». Моррас считал коммунистов какими-то анархистами с «немецкими идеями», тогда как более проницательные раскольники увидели, что в эпоху масс ответом на коммунизм может быть только фашизм.

Нигде идеи Морраса не искажались сильнее исследователями - и прежде всего Нольте - как при разборе его национализма. Разумеется, сегодня ни один консерватор или даже «новый правый» не станет говорить языком начала XX в. «Политической корректности» тогда не существовало, и такой «прогрессист», как Клемансо, вполне мог откровенно порадоваться голоду в Германии после Первой мировой войны и добавить, что в Германии вообще имеется «лишних 20 миллионов», и неплохо было бы этим миллионам уйти в небытие. Моррас говорил о «богине Франции», свое учение он называл «философией французского национализ-

¹ Aron R. La revolution introuvable. - P.: Fayard, 1968. - P. 38.

ма». Но националистами во Франции были и республиканцы, более того, сам национализм не был чем-то старорежимным - культ нации и шовинизм представляют собой наследие революции. Конечно, в рамках монархической идеологии издавна шло движение от личной верности династии к представлению о национальном интересе. Уже так называемые «политики» времен религиозных войн XVI в. говорили о том, что конфликт католиков и протестантов, переплетающийся с династическими притязаниями, ослабляет Францию в борьбе с Испанией; Ришелье служил королю, но он заложил основы той политики, которая определяется словосочетанием Raison d'Etat. Поэтому повторяющееся из книги в книгу суждение: Моррас и Баррес позаимствовали национализм у левых и сделали его политической программой правых просто неверно. Одним из «семейств» французских правых (выражение выдающегося французского историка Р. Ремона) были бонапартисты, а империя хоть Бонапарта, хоть Наполеона III получала легитимацию почти исключительно через отсылки к «нации» и «национальной славе». Морраса вообще считают в этом отношении «новатором» только те, кто видит исключительно французский контекст, но игнорирует то, что во второй половине XIX в. происходила «национализация» европейских монархий - Александр III и Вильгельм II были современниками Морраса, и он сделал в условиях республики то, что естественным образом происходило в странах с монархическими режимами: соединение роялизма с национальной идеей.

Националистами были и Столыпин, и Вебер, и Струве; в сравнении с организациями немецких «национал-либералов», вроде Alldeutsches Verband или Kolonialgesellschaft, руководимое Моррасом «Action francaise» вообще не имело программы внешней экспансии (если не считать общий всем французским партиям того времени реваншизм в связи с Эльзасом и Лотарингией). В других странах соединение национализма с монархизмом вело к пангерманизму или панславизму, francisme Морраса не притязал на какую бы то ни было всеобщность. Арндт назвал немца Allermensch, Достоевский применил это же словосочетание «всечеловек» к русскому, у Морраса француз - избранный представитель Цивилизации. Но в ту эпоху и демократ Мадзини писал, что итальянский народ является «душой мира» и «словом Бога посреди наций». Моррас был не большим и не меньшим националистом, чем Фихте или Трейчке, только национализм у него не имеет никаких амби-

циозных внешнеполитических планов, не ведает о какой бы то ни было универсальной «идее», которой нужно «научить» человечество. С точки зрения Моррасса, проекты превратить два миллиарда землян в рабов у семидесяти миллионов представителей «расы господ» были чудовищной наглостью варваров.

Французский национализм он отличал прежде всего от немецкого, который желает навязать другим собственную ограниченность¹. «Классический французский дух» предполагает обогащение за счет включения чужого, адаптации, обогащения, он сам

¹ Для понимания идей Моррасса иногда нужно обращаться к сочинениям его последователей. Моррасс был человеком XIX столетия, его монархизм вообще восходил к наследию легитимистов времен Реставрации. Как эти идеи воспринимались теми, кто родился через полвека? В качестве примера я возьму книгу молодого Тьерри Молнье (в 1960-е гг. он станет членом Французской Академии) «Кризис в человеке». Книга написана в 1932 г., во время мирового экономического кризиса, истоки которого Молнье видит в утрате традиционных духовных ценностей. В ней Молнье специально подчеркивает отличия французского национализма от немецкого. Французский национализм исходно не агрессивен, он пробуждается лишь тогда, когда есть опасность национальному бытию. Француз слит со своей традицией, со своим стилем жизни, который он наивно считает наилучшим из возможных. Он никому ничего не навязывает, не выставляет напоказ. Основу французского национализма составляют «почва, чувствительность, цивилизация», тогда как государство для француза никак не подменяет нацию - это лишь полезный аппарат. У немцев отсутствует это органическое слияние, а потому национализм у них этатистский, милитаристский, требующий постоянного подтверждения на массовых сборищах, участия в митингах и маршах. В Германии процветает коллективистская идеология, тогда как французы - прирожденные индивидуалисты, которые объединяются лишь при наличии угрозы. Поэтому национализм «Аксьон франсез» ограничивается защитой, тогда как в Германии коллективизм способен привести к опасному соединению социализма с империализмом и тогда можно опасаться за судьбы Европы - эти слова из предисловия, написанные в 1932 г., можно считать пророческими. Следует отметить, что Молнье, вслед за Бэнвилем, считал отчасти ответственным за немецкий национализм Версальский договор, а именно, 231-ю его статью, которая возлагала ответственность за Первую мировую войну исключительно на немцев. «Демократическое лицемерие сочеталось браком с лицемерием пуританским» (с. 102), а потому проигравшая сторона должна не только платить репарации, но еще и «замаливать грехи», которые были общими.

есть продолжение великой Цивилизации, которую создали не сами французы, но получили от греков. Родиться французом - великое преимущество, «священная привилегия», поскольку это значит родиться наследником огромного капитала средиземноморской цивилизации. Тем не менее, речь идет о национализме, «патриотическом эгоизме»: в мире есть тибетцы и китайцы, которыми мы восхищаемся, но они далеки от нас, нам до них, по большому счету, нет никакого дела, нет даже никакой пользы; а вот от членов собственной нации - прямая выгода. «Французы нам друзья, поскольку они - французы, и они не являются таковыми, поскольку мы их избрали себе в друзья»¹. Нация не является каким-то божеством, «но нация занимает высшую точку в иерархии политических идей. Из всех реальностей она просто является самой сильной». Перед этой реальностью должны отступать все споры, затухать все конфликты. Нации предшествуют классам. Национальность не определяется расой, но она не является и результатом свободного выбора. «Между дикой Природой в собственном смысле слова и природой искусственной (скажем, юридической или какой-то еще), проистекающей более или менее из воли, из произвола человека, находится промежуточная природа, которую можно было бы назвать второй природой: Общество. Социальная жизнь составляет существенную часть человеческой природы, человек просто не мог бы без нее существовать. Национальность представляет собой модус этого естественного состояния человека. Можно назвать ее социальным фактом»². Человек всегда и неизбежно принадлежит племени или нации, которые обладают своими обычаями, нравами, законами, манерами мыслить и чувствовать. Все это формирует нас вплоть до физического облика. Подобно тому, как эллин защищал стены своего полиса, современный француз обязан защищать то отечество, которое дало ему буквально все - от прекрасной кухни до великих творений литературы и науки.

Республика безродна, она игнорирует национальные чувства, она проповедует космополитизм «прав человека». Моррасс не отрицает того, что существует республиканский патриотизм и даже шовинизм, но он считает его непоследовательным. «По суще-

¹ Aron R. La revolution introuvable. - P.: Fayard, 1968. - P. 262. ² Ibid. - P. 261.

ству, роялизм отвечает всем различным требованиям национализма: вот почему он получил имя *интегрального национализма*¹. Монархи - это отцы нации, монархия - своего рода семья, где есть отец, тогда как республика лишена родительского авторитета. Легитимная королевская власть совсем не деспотична. Идеал Морраса - не конституционная монархия, но «традиционная, наследственная, антипарламентская, децентрализованная монархия». Она не менее, а более представительна, чем конституционная, - через корпорации, провинциальные собрания. В республике нет никаких добродетелей, которые приписал ей Монтескье: «Эта республиканская добродетель существовала лишь в мечтаниях некоторого числа идеологических доктринеров»². В истории бывали удачные опыты аристократических республик (Рим, Карфаген, Венеция), но они редки, поскольку требуют особых условий, да и неустойчивы, могут быстро перейти к другому, куда худшему, режиму, как это произошло в Афинах в V в. до н.э. Аристократия сама по себе дурна, она предполагает борьбу кланов, классовую ненависть. Не годится и рожденная революцией империя: она не национальна, она слишком связана с популистской демократией. «Франция не создана для того, чтобы жить в виде демократии. Ни Франция, ни какая-либо другая страна... Демократия есть политическая болезнь. От нее либо избавляются, либо от нее умирают - жить в демократии нельзя». В действительности не существует ни одной демократии, ибо Англия совсем не демократия, но аристократия, а в США и во Франции правит плутократия.

Недостатком республиканского режима для Морраса является отсутствие суверена, поскольку прирожденное и неотчуждаемое право верховной власти может быть только у монарха. Республиканцы были ничуть не меньшими националистами, они перенесли идею суверенитета с короля на нацию, отождествили государство с нацией. Наследник Бодена, Моррас ведет непрестанный спор с Руссо, но в понимании национального суверенитета они являются единомышленниками. Нация является Левиафаном, «Смертным Богом» Гоббса, она сталкивается с другими нациями, ведет «борьбу за существование». Моррас крайне негативно относился к лю-

¹ Aron R. La revolution introuvable. - P.: Fayard, 1968. - P. 279.

² Ibid. - P. 294.

³ Ibid. - P. 266.

бым союзническим обязательствам, поскольку они умаляют «богиню Францию», лишают нацию абсолютного суверенитета. Космополитичный финансовый капитал вызывает негодование прежде всего потому, что он может «служить кому угодно».

Вся политическая деятельность Морраса определяется таким пониманием суверенитета: «друзей» у нее в мире нет, а потому нужно вооружаться и готовиться к войне - ее можно избежать лишь в том случае, если потенциальный агрессор увидит, что ему способна противостоять сила. Движение «Аксьон франсез» сыграло немалую роль в подготовке Франции к Первой мировой войне и во время войны. От противостояния республике оно переходит к ее поддержке уже в последние предвоенные годы, когда на место радикалов к власти вновь приходят консервативные республиканцы во главе с Пуанкаре и Барту и начинают укреплять армию. Во время войны почти все члены «Аксьон франсез» добровольцами идут на фронт, а Моррас готов примириться даже с таким врагом, как Клемансо, который немало сделал для победы (в том числе подавил бунты в армии и посадил как «шпионов» иных из своих прежних политических соратников). После войны Моррас пользуется огромным авторитетом, он поддерживает правительство Пуанкаре, который время от времени приглашает Морраса для консультаций. Собственно говоря, «Аксьон франсез» в это время уже не является оппозиционной партией, ее депутаты в парламенте отличаются от консерваторов лишь склонностью устраивать скандалы и поисками «врагов» (этим прославился Леон Доде). Но с момента конфликта с папским престолом движение утрачивает свое влияние, становится все более похожим на секту, а конфликт с республикой становится непримиримым в эпоху «Народного фронта».

Крушение Морраса как политика в годы оккупации неразрывно связано с его триумфом в годы Первой мировой войны и сразу после нее. Моррас не изменился, он был тем же «интегральным националистом», ставящим превыше всего абсолютный суверенитет Франции. Его пропагандистская деятельность в начале века поспособствовала победе Франции в войне 1914-1918 гг., хотя и в ней Франция никак не смогла бы победить без более могущественных союзников. Но Вторая мировая война уже мало чем напоминала войны абсолютных монархий, мир поделился на «блоки». Моррас мог сколько угодно доказывать на суде, что считал

необходимым восстановление французской мощи, ее собственной армии (что и обещал Петэн), тогда как схватка Германии, англосаксов и СССР не имеет никакого отношения к национальному интересу французов. Эта позиция помогала только нацистской Германии, что хорошо понимали Лаваль и прочие коллаборационисты. Как говорил Лаваль, возможны лишь две позиции, «моя и Де Голля, и не будь я Лавалем, то стал бы Де Голлем». Начавшаяся после Вестфальского договора эпоха «концерта» европейских держав кончилась, выбор нужно было делать между либеральной демократией, фашизмом и коммунизмом, а все они требовали отказа от прежней национальной исключительности. Моррас равно ненавидел все эти идеологии - национал-социализм для него был ничем не лучше коммунизма или демократии, поскольку для «интегрального националиста» все они представляют собой лишь демагогическое прикрытие английского, немецкого, советского национального интереса. Сам язык новой эпохи был ему непонятен.

Триумф Морраса в каком-то смысле подготовил его крушение. Если бы Франция проиграла Первую мировую войну, она могла бы вернуться к монархии (хотя нельзя было бы исключить и победу более радикальных сил). В период между двумя мировыми войнами почти вся Европа находилась во власти тоталитарных и авторитарных режимов, тогда как в победившей Франции сохранилась демократическая республика. Продолжение борьбы с нею толкнуло Морраса к тому, что в Петэне он увидел «спасителя нации». Если на конец XIX в. в аграрно-индустриальной стране до половины населения могло поддержать восстановление монархии и установление авторитарного «закона и порядка», то уже в 1930-е гг. обнаружилось, что подавляющее большинство французов не желают для себя и своих детей подобного будущего. Влияние Морраса остается на крайне правом фланге, который способен, как показывают последние выборы, мобилизовать голоса пятой части населения, но тут все его наследие сводится к неприязни к «метекам», к лозунгу: «Франция для французов». Национальную идею с республиканской удалось органически соединить Де Голлю, Жанна д'Арк и республиканская «Марианна» более не противостоят друг другу в сознании французов.

Доктрина Морраса не стала во Франции руководством к действию для политиков: даже вишистский режим мало чем был ей обязан. Реальным было влияние за Пиренеями: в Португалии

Салазар был поклонником и единомышленником Морраса, он осуществил многое из того, что предлагалось идеологом «Аксьон франсез», хотя не стал восстанавливать монархию. Это сделал Франко в Испании, который также почитал Морраса, но именно последний из семейства Бурбонов помог впоследствии избавиться от наследия авторитарной диктатуры. Доктрина Морраса представляет собой консервативную утопию, сопоставимую с такого же рода утопическими проектами (вроде «народной монархии» Солоневича). Она имела какой-то смысл в то время, когда республиканскую Францию окружали монархии, но вместе с их падением в итоге развязанной ими самими мировой войны она стала достоянием истории.

ПРУССКИЙ СОЦИАЛИЗМ И КОНСЕРВАТИВНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Предисловия и послесловия к трудам «классиков» вряд ли нужны тем, кто и без них хорошо знаком с их творчеством; невеждам они тем более не нужны, да они, скорее всего, и не станут читать первоисточник - можно обойтись словарем или учебником (если вообще есть потребность что бы то ни было знать). Мы исходим из того, что прочитавший эту книгу имеет представление о философии истории Шпенглера, даже если и не одолел целиком «Закат Европы», быть может, знаком и с небольшой книжкой «Человек и техника», но, скорее всего, не владеет в достаточной степени немецким языком, чтобы познакомиться с другими трудами Шпенглера и произведениями его современников. В кратком послесловии мы не станем излагать содержание таких не переведившихся у нас работ, как «Годы решения» или вышедших посмертно рукописей («Перво-вопросы»). Вряд ли стоит углубляться и в биографические детали. Разумеется, я не отрицаю основного принципа традиционной герменевтики, а именно понимания целого из частей, а каждой части из целого; применительно к «Пруссачеству и социализму» это означает, что данное произведение можно было бы «вписать» в контекст жизни автора, сопоставить с прочими его текстами, показав, например, как «социализм» у Шпенглера вляется в общую картину эпохи цезаризма, выступая как орудие воли к власти (либо насколько он морфологически соответствует сходным явлениям античности, вроде стоицизма); можно было бы, далее, связать политическую философию Шпенглера с его философией техники, сравнить с другими учениями, относимыми к «философии жизни» и т.д. Шпенглер был оригинальным философом, но ни один мыслитель не творит свою систему «из ничего». Шпенглер был наследником Ницше, он был в общих чертах зна-

ком с учением Данилевского - список таких «влиятельных» можно было бы продолжить. Все сопоставления такого рода уже не единожды осуществлялись историками философии, взгляд которых неизбежно обращается к развитию немецкой мысли, привязке идей к тем или иным обуславливающим их мотивам. Поскольку Шпенглер был не только философом, но чрезвычайно влиятельным публицистом, то для полноты картины мне понадобилось бы подробное изложение двух томов публицистики Шпенглера, с учетом изменений его политических позиций на протяжении всего периода Веймарской республики, разбор сложных взаимоотношений с целым рядом других мыслителей и политиков, вплоть до последних лет его жизни, т.е. до того момента, когда его «культурпессимизм» стал объектом критики ранее ему симпатизировавших (правда, без взаимности) национал-социалистов.

Однако «Пруссачество и социализм» представляет собой работу, которая была написана в 1919 г. вскоре после подписания Версальского договора и провозглашения Веймарской республики. Это эссе является одним из первых документов «консервативной революции» и большинство читателей этой книги составляли те, кто не интересовался философией и не читал вышедшего к тому моменту первого тома «Заката Европы». Сам Шпенглер хорошо понимал то место, которое занимает «Пруссачество и социализм» в публицистике того времени. В предисловии к сборнику своих политических трудов (Oswald Spengler, Politische Schriften. Volksausgabe. C.H. Beck. - Munchen, 1933) он так писал о происхождении «Пруссачества и социализма»: «Так переживалась нами самая глупая и самая трусливая, самая безыдейная революция в мировой истории. Из отвращения и ожесточения по ее поводу летом 1919 года возникла книга "Пруссачество и социализм", содержащая в себе ставшее знаменитым описание этой революции, вызвавшее крики ненависти и мне никогда не прощенное. С этой книги начинается национальное движение». Это «движение» получило впоследствии наименование «консервативная революция», а одним из его основных тезисов (или даже лозунгов) было намеченное Шпенглером соединение консерватизма и социализма в борьбе с либерализмом и парламентаризмом, с той «внутренней Англией», которая способствовала поражению Германии в мировой войне. То, что социалистическая критика капитализма восходит к консервативной, не является секретом для историков поли-

тической мысли - достаточно открыть «Коммунистический манифест», в котором описываются предшествующие марксизму варианты социализма, идеализирующие те или иные средневековые социальные формы. Первые политические альянсы между консерваторами и социалистами встречаются уже в 1830-е гг. во Франции. В Веймарской Германии возникло множество концепций, политических союзов, клубов, партий, которые по-разному выражали одно и то же основополагающее стремление к синтезу консерватизма и социализма («прусский социализм», «немецкий социализм», «национальный социализм», «солдатский социализм», «национал-социализм»). Именно в этом контексте становятся понятными многие положения Шпенглера, которые вне его могут показаться надуманными и произвольными.

«Консервативная революция» не является реализацией какой-то философской идеи или школы, это явление не столько философии (или даже политической философии), сколько политической жизни Германии в определенный период времени. Можно сказать, что в Германии это идейное течение возникло и получило широкое распространение в период между двумя массовыми феноменами. В августе 1914 г. миллионы немцев поют на улицах «Deutschland, Deutschland ueber alles»; вечером 30 января 1933 г. миллионы поют на улицах «Хорст Вессель»: «Die Fahne hoch, die Reihe tief geschlossen, SA marschirt mit ruhig festen Schritt». А между этими двумя событиями были мировая война, революция 8 ноября 1918 г., Баварская советская республика и путч Каппа, инфляция 1923 г., Раппало и Локарно, планы Дауэса и Янга, экономический кризис 1929 г., агония Веймарской республики и множество других событий. Но кроме экономической и политической истории Германии (а у нее были свои предпосылки и в бисмарковском рейхе, и много раньше), можно было бы обратиться и к истории ментальностей, ибо «консервативная революция» была идейным выражением менталитета двух поколений немцев, и к истории идей, и к истории литературы - ведь популярности словосочетания «консервативная революция» поспособствовали два таких «классика», как Томас Манн и Гуго фон Гофмансталь, а одним из главных ее идеологов был Эрнст Юнгер.

К этому добавляется еще одно обстоятельство: сходные идеи и концепции обнаруживаются практически во всех европейских

странах. Социал-империализм ряда теоретиков Фабианского общества в Англии, учение о «пролетарских и капиталистических нациях» итальянских националистов, «интегральный национализм» Мориса Барреса и «Action Francaise» Шарля Морраса во Франции, доктрина Hispanidad (не только у испанских традиционалистов, но и у Мигеля де Унамуну) - все эти идеи перекликаются с тем, что думали и писали немецкие авторы. Помимо сопоставления собственно политических идей возможны и иные сравнения, скажем, романов Юнгера с произведениями молодого Мальро или с «Цитаделью» Сент-Экзюпери, либо соотнесение живописи Neue Sachlichkeit с психологией Jugendbewegung или Voelkisch. Все эти сопоставления правомерны, но данное предисловие не должно превращаться в рассказ о немецкой или даже европейской истории первой трети XX в. Ограничимся краткой характеристикой «консервативной революции» в Германии и тех политических проектов, которые в большей или меньшей мере были связаны с «прусским» или «немецким социализмом».

Парадоксальное словосочетание «консервативная революция» впервые было употреблено в Германии Томасом Манном в предисловии к антологии русских писателей в 1921 г. - оно однажды было употреблено Достоевским в «Дневниках писателя». Манн вряд ли знал, что Достоевский имел в виду дискуссию 1870-х гг. по поводу книги русского отставного генерала Фадеева, впервые использовавшего это словосочетание. В этой дискуссии принял участие известный славянофил Самарин, и Манн считал, что это выражение вышло из круга русских славянофилов, хотя в действительности Самарин весьма критически отнесся к проекту генерала, для которого «консервативная революция» означала усиление роли аристократии при известном ограничении центральной бюрократической машины, а тем самым и монархической власти. Популярность в Германии это слово обрело позднее, после речи «Das Schriftum als geistiger Raum der Nation» (1927) другого писателя, Гуго фон Гофмансталя, в которой говорилось о духовных поисках молодого поколения, о стремлении к Gemeinschaft, которое ведет к пересмотру идей не только Просвещения, но даже Ренессанса и Реформации. Речь завершалась словами: «Процесс, о котором я говорю, есть не что иное, как консервативная революция - невиданного в европейской истории размаха. Ее целью является форма, новая немецкая действительность, в кото-

рой сможет соучаствовать вся нация». Эта речь была вовсе не политической - речь шла о духовном единстве немецкой нации - она лишь дала имя тому, что уже существовало под другими наименованиями: «Третий Рейх», «новый национализм», «революция справа» и прежде всего «идеи 1914 года».

Хотя у «консервативной революции» было много предшественников - достаточно вспомнить Ницше и Буркхардта - как некая целостная идеология она формируется именно во время Первой мировой войны. Немалую роль здесь сыграли представители правого крыла социал-демократической партии (Кунов, Ленш, Винниг), и в особенности И. Пленге, выпустивший в 1916 г. книгу «1789 и 1914. Символические годы в истории политического духа». Ранее по-немецки вышла книга шведского юриста Р. Кьеллена «Идеи 1914 года», в которой эти идеи противопоставлялись «идеям 1789 года». Пленге писал: «С 1789 года в мире не было такой революции, как немецкая революция 1914 года - революция собирания и организации всех государственных сил XX века против революции разрушительного освобождения в XVIII веке».

Центральной мыслью Пленге было то, что война привела к истинной революции, причем революции социалистической. «Социализм есть организация», он предполагает плановое хозяйство и дисциплину, он кладет конец эпохе индивидуализма. Нация стала единым организмом, и это ведет к пересмотру представлений о свободах и правах. За лозунгами: «Свобода - в организации! Равенство - в организации! Братство - в организации!» стояла политическая теория, восходящая к «закрытому государству» Фихте и интерпретация марксизма в духе правого гегельянства. Государство как дифференцированная тотальность, плановая экономика, требующая уничтожения идей либеральной эпохи - вот центральные положения Пленге. Им принадлежит универсальное будущее: «Нам принадлежит XX век. Как бы ни завершилась война, мы являемся образцовым народом. Наши идеи будут определять жизненные цели человечества». Это предсказание Пленге реализовалось лишь отчасти, в виде советского коммунизма - в своих статьях 1918-1919 гг. Ленин откровенно писал, что образцом для русского коммунизма должна служить немецкая централизованная военная экономика. Он ссылался в то время именно на нее, а не на какие-то традиции русского «мира».

Вальтер Ратенау был не только одним из организаторов военной плановой экономики, но одновременно ее теоретиком: его книги 1912-1917 гг. содержат целый ряд положений, которые будут воспроизводиться практически всеми теоретиками «консервативной революции» (включая теорию индустриального общества и философию техники - идея «механизации» и плановой регуляции не только экономики, но и всех сфер жизни). Ратенау пишет о том, что государство перестает быть классовым в условиях плановой экономики. Государство предстает как «второе, расширенное и бессмертное Я человека», как воплощение воли Gemeinschaft. У Ратенау обнаруживается даже основная идея Карла Шмитта: определение политического через оппозицию «друга» и «врага». Любопытный разговор произошел впоследствии между двумя участниками покушения на Ратенау, один из которых говорит другому (Эрнсту фон Заломону): «По существу, мы убили одного из наших. Он же был настоящим фашистом!» Ни фашистом, ни тем более национал-социалистом Ратенау, конечно, не был, и убили его за то, что он был сторонником *Erfuellungspolitik*, то есть выполнения условий Версальского мира. Но как практик он сыграл в 1922 г. важную роль в формировании той политики, которая получила наименование *Ostorientierung* - именно он, будучи министром иностранных дел, подписал договор с Советской Россией в Рапалло.

К «идеям 1914 года» имеют прямое отношение книги двух мыслителей, которые сыграли значительную роль в формировании «консервативной революции». Это «Гений войны» и «Причины ненависти к немцам» Макса Шелера и «Герои и торгаши» Вернера Зомбарта. В них мы находим ряд оппозиций, которые станут общим местом в сотнях книг и статей в 20-е гг. Прежде всего это противопоставление немецкой *Kultur* и англо-французской *civilization* - оппозиция эта существовала с конца XVIII в. (впервые она была сформулирована Кантом), а также коррелятивная ей оппозиция Германия - Запад (впервые она получила выражение в полемике Гердера против французского Просвещения). Эти оппозиции были общим местом немецкой публицистики начала XX в. - мы находим их и у авторов, которые были достаточно далеки от «консервативной революции». Особенностью работ Шелера и Зомбарта является антибуржуазность, антикапитализм, ибо капитализм, индивидуализм, либерализм, утилитаризм, позитивизм, торгашество и т.д. суть порождения «английского духа». Для Зомбарта «немец-

кое мышление и немецкое чувство заявляют о себе прежде всего как решительное отрицание всего того, что хоть как-то напоминает английское или западноевропейское вообще мышление и чувство», поскольку немец отвергает утилитаризм и эвдемонизм, пользу и наслаждение во имя воли и духа, долга и преданности, самопожертвования и героизма. Мировая война представляет собой схватку двух человеческих типов: героя и торгаша. Капитализм чужд немецкому духу. В докладе Шелера «Христианский социализм как антикапитализм», сделанном вскоре после революции 1918 г., выдвигается идея «национального государственного социализма». Шелер пишет о необходимости союза с Советской Россией в борьбе против Запада, а целью Германии провозглашается «антикапиталистическая политика». Итогом войны является поражение не только Германии, но и всех европейцев - войну выиграла Америка, а это на время дает господство «капиталистическому типу человека и хозяйства», тогда как все остальные нации делаются «в большей или меньшей мере рабами, даже пролетарскими нациями по отношению к англо-американскому капитализму». Но время этого капитализма завершается, ибо «капитализм есть эпизод мировой истории, он пришел не так уж надолго». Это - идол Маммоны и извращение человеческой природы.

Самое яркое выражение «идей 1914 года» мы обнаруживаем у великого немецкого писателя, Томаса Манна. Именно у него в «Размышлениях аполитичного» этот комплекс идей впервые увязывается с консерватизмом, который понимается как противостояние Западу. На протяжении всей этой огромной книги Манн непрерывно цитирует Достоевского, называет его «пророком»; хотя Германия и Россия находились в состоянии войны, Манн пишет о союзе Германии и России как о «мечте своего сердца» (вопреки пропаганде того времени, в которой Россия именовалась не иначе как «варварская страна»). Этот союз, по Манну, должен быть направлен против наступающего англосаксонского мира с его прагматизмом и утилитаризмом (в конце книги Манн пишет по-английски: «The world is rapidly becoming English»). Немцев и русских роднит близкое понимание человека и человечности, отличное от латинского и англосаксонского. Манн ставит вопрос о сходном противостоянии традиций этих двух стран Западу и спрашивает: «Разве у нас нет наших западников и наших славянофилов?» Тех, кого он презрительно именуется «литераторами»

(включая и собственного брата Г. Манна, с которым были на несколько лет прерваны все отношения), Манн относит к «западникам», т.е. к тем, кто хотел бы разрушить Германию. Славянофильство в России Манн оценивает по негативному содержанию, как реакцию на Запад, а по позитивному - как консерватизм. Именно такова его собственная позиция - консервативное противостояние Западу. Английская и французская пропаганда времен войны изобиловала штампами: «цивилизация» - «варварство» (либо «цивилизация» - «пруссский милитаризм» и т.п.). Еще в статье «Мысли во время войны» (1914) Манн саркастически замечал: французы полвека кричали о реванше, но когда дело дошло до войны, то вспомнили о «цивилизации». Они сделали Реймс крепостью, расположили пушки рядом с собором, а после того, как немцы стали отвечать на огонь этих пушек и разрушили собор, поднялся плач о «цивилизации», которой грозят «варвары». Но ведь средневековые соборы давно перестали быть частью их «цивилизации», с точки зрения которой церкви принадлежат к векам «фанатизма и предрассудков».

Эта «цивилизация» с ее демократией и «правами человека» насквозь фальшива и лицемерна. Национальная тема совпадает в «Размышлениях аполитичного» с консервативной: «Политический дух демократического Просвещения и «человечной цивилизации» не только является душевно чем-то антинемецким; он с необходимостью оказывается также повсеместно враждебным Германии». Истинным духовным врагом Германии является даже не Франция, реваншизм которой все же национален, а потому хоть как-то оправдан; настоящий враг - Англия и ее агенты, сторонники «гуманности» и «цивилизации». К этим агентам относятся и «deutsche Sapadniki», которые желают тотального изменения национального характера немцев. За образец берется «мировая демократия», «империя цивилизации», «общество человечности», целью которых, однако, является исчезновение немецкого духа. Война поэтому определяется Манном как «консервативное сопротивление прогрессу», который Манн иронически и с явной отсылкой к Ницше называет «прогрессом от музыки к демократии». Войну Манн приветствует как открытую борьбу с этой цивилизацией - с плоскогуманной, тривиально-декадентской, феминистски-элегантной Европой, «литературной как парижская кокетка», ставшей «слишком человеческой»; это война с «цивилизацией танго и тустепа», дели-

чества, прикрытого высокими словами о правах и свободах. Эта цивилизация уже начала завоевывать Германию до войны, и война есть «восстание Германии против западного духа», дошедшего до нигилизма в результате Просвещения и демократического прогресса. Мир демократии, партийной политики, прав человека и прочих «идей 1789 года» признается им антинемецким, ибо Германия по духу своему консервативна и аполитична.

Еще четче основные темы консервативной революции выступают в его дневниках 1918-1921 гг. Я приведу лишь две записи конца 1918 года: «Меня ужасают анархия, господство черни, пролетарская диктатура со всеми сопровождающими явлениями и вытекающими из нее следствиями а la russe. Но моя ненависть к ритору-буржуа должна была бы привести меня к желанию большевизации Германии, ее присоединения к России... Национально отечественный социализм... Вот немецкая задача - найти нечто политически новое in politicis между большевизмом и западной plutократией». В дневниковых записях за 1918-1919 гг. такого рода рассуждения встречаются неоднократно: ненависть к Антанте пересиливает неприязнь к большевизму (которая у обитавшего в Мюнхене в период Баварской советской республики Манна была самой непосредственной). В дальнейшем Томас Манн отходит от этих идей, становится одним из виднейших защитников республики, даже сторонником социал-демократии, а в начале 1950-х гг. он чуть не стал лауреатом Сталинской премии. Как идеи «консервативной революции» повлияли на литературные произведения Манна - это отдельная тема, причем речь должна идти не только о «Волшебной горе», но и о тетралогии «Иосиф и его братья».

«Пруссачество и социализм» Шпенглера стоит в одном ряду с такими произведениями, как «Третий Рейх» А. Меллера ван ден Брука, «Революция справа» Х. Фрейера, «Господство неполноценных» Э. Ю. Юнга, «Рабочий» Э. Юнгера - каждая из этих работ заслуживает детального анализа, равно как экономические труды В. Зомбарта, политическая философия К. Шмитта или философия техники Ф. Юнгера. Мне приходится говорить о консервативной революции в целом, а это предмет продолжительных дискуссий немецких историков. Начало этим спорам положила книга Армина Молера, который первым употребил это словосочетание в духе социологии знания или политической науки для обозначения не идей и лозунгов 1920-1930-х гг., но как характеристику большой

социальной группы - правых интеллектуалов, членов множества небольших политических партий, клубов, редакций нескольких десятков газет и журналов.

Конечно, мы точно так же употребляем слова либерализм, социал-демократия или анархизм для характеристики не только идей и программ, но и тех партий и групп, которые являются носителями этих идей. Но в случае «консервативной революции» ситуация является куда более сложной, поскольку общим для всех были только неприятие Версальского договора и Веймарской республики, критика экономического и политического либерализма и парламентаризма. Но кто только не критиковал Веймарскую республику — не только коммунисты или нацисты были ее врагами, но и Deutschnationale Volkspartei Гугенберга, правое крыло в католической партии Zentrum, да и социал-демократов с их тогдашней ортодоксально-марксистской программой трудно представлять убежденными сторонниками либерализма и парламентаризма. Веймарскую республику не раз называли «республикой без республиканцев», президент которой Гинденбург был убежденным монархистом. Столь же мало говорит о «консервативной революции» типичное в нынешней леволиберальной историографии обвинение в «национализме». Сегодняшние либералы забывают о том, что немецкий национал-либерализм конца XIX - начала XX в. (с такими союзами, как Alldeutsche Verband, Flottverein или Kolonialgesellschaft) можно куда в большей степени считать источником нацизма, чем немецкий консерватизм или социализм. Националисты были во всех партиях Веймарской республики, включая и марксистов с их интернационализмом (Hofgeismarkreis у «молодых социалистов», «курс Шерингера» у коммунистов), а идеология «консервативной революции» отличалась и от нацистской, и от DNVP Гугенберга именно тем, что «нация» отвергалась во имя «империи».

Молер отнес к «консервативной революции» пять групп: Voelkisch, Buendnisch, Jimgkonservative, Revolutionaere Nationalisten, Landvolkbewegung (впоследствии он исключил последнее - движение крестьян Северной Германии). Эта классификация в дальнейшем не раз воспроизводилась, уточнялась, подвергалась критике. Сам Молер был вынужден релятивизировать даже свой центральный тезис относительно основополагающей философской идеи, которую он поначалу считал общей для всей «консерватив-

ной революции» - «вечное возвращение» Ницше. На наш взгляд, его классификация является совершенно искусственной, поскольку практически все идеологи консервативной революции в молодости были Buendnisch (предвоенное Jugendbewegung), все они в той или иной степени были Voelkisch и провозглашали «Nation in Gemeinschaft!», все считали себя консерваторами и революционерами в одно и то же время. Заслугой Молера является то, что он собрал огромный фактический материал и первым обратил внимание на социальную и психологическую общность военного поколения.

Типичным представителем «консервативной революции» был вообще не кабинетный ученый или партийный доктринер, но «человек действия», достаточно образованный для того, чтобы в промежутки между теми или иными схватками написать несколько статей, роман, философское эссе, а затем снова взяться за оружие. Среди сотен приводимых Молером биографий имеются просто поразительные по авантюризму и готовности братья за оружие. Это поколение тех гимназистов и студентов, которые добровольцами пошли в армию во время войны, затем во Freikorps сражались в Прибалтике и Польше, подавляли Баварскую советскую республику, участвовали в подпольных и даже террористических организациях. Небольшая часть их в дальнейшем примкнула к национал-социализму, некоторые стали коммунистами, но в большинстве своем они входили в небольшие организации и движения, враждебные как коммунизму, так и нацизму. Приведем лишь одну характерную биографию: Беппо фон Рёмер, глава военизированного Bund Oberland, вернувшись с фронта участвовал в подавлении Баварской республики и в боях с поляками в Верхней Силезии, но в дальнейшем сотрудничал с национал-большевизмом Никиша (кстати, видного деятеля в Баварской республике), затем поддерживал Landvolk под знаменами крестьянской войны 1925 г., стал коммунистом, принимал участие в Сопротивлении, готовил покушение на Гитлера, за что и был расстрелян в 1944 г.

Среди представителей «консервативной революции» были как «левые люди справа», так и «правые люди слева». Их объединяет не только неприятие либерализма и парламентаризма, но и прежнего консерватизма. У них нет ни малейшей ностальгии по монархии и кайзеру, сословные предрассудки им чужды - сословия были отменены фронтовым братством. Они охотно цитируют

Гераклита: «Война - отец всего» и говорят о борьбе, решимости, подлинности - в трудах Юнгера, Хайдеггера и Шмитта эти убеждения обретают черты философских и политических доктрин. Они убеждены в том, что прежние немецкие элиты отжили свое и должны освободить место, новой. От прежнего консерватизма их отличает не только желание избавиться от сословий и классов, которые препятствуют Gemeinschaft, но и отвержение обычного для консерватизма обоснования земной иерархии ссылками на небесную, на извечно установленный божественный порядок. Вслед за Ницше они отвергают «удвоение мира» и трансцендентный моральный порядок.

Идеи Ницше обретают черты активистской идеологии, основой которой является презрение к мирному буржуа с его прозаическим стилем существования, банальными эстетическими вкусами и мещанской моралью. Не только старые консерваторы и либералы, но и вожди социал-демократии оказались тупыми мещанами, на них лежит ответственность за проигранную войну и позорный Версальский договор, они являются «агентами Антанты» в Германии. «Немецкую революцию осуществили либеральные, а не революционные люди, в этом ее проклятие», - утверждал Меллер ван ден Брук в «Третьем Рейхе». Сразу после подписания Версальского договора он писал даже так: «Когда 9 ноября по стране был спущен черно-бело-красный флаг, то 10 ноября на его месте должен был развеваться красный флаг, чтобы вести на бой с капитализмом пролетариев и довести борьбу до конца». Шпенглер был совсем не одинок в оценке ноября 1918 г. как национального позора: революции ведут к подъему жизненной энергии, к готовности вести борьбу не на жизнь, а на смерть, тогда как в Германии победили трусы, болтуны и предатели. В момент отречения кайзера будущий первый президент Веймарской республики, марксист Эберт, сказал: «Я ненавижу революцию как грех». Вожди социал-демократии оказались лучшими слугами либерализма, который был так изображен Меллером: «Либерализм хоронил культуры. Он уничтожал религии. Он разрушал отечества. Он был саморазложением человечества». Немецкие консерваторы приходят к мысли о неизбежности социализма, поскольку либеральный капитализм означал для них капитуляцию перед Антантой, тем мировым порядком, в котором Германии было уготовано место колонии.

Разумеется, за такого рода идеями стоят вполне реальные социальные противоречия того времени, например, пролетаризация значительной части среднего класса и безработица среди молодых выпускников университетов, понижение социального статуса и зарплат у тех «белых воротничков», которые все же находили рабочие места. Революционные идеи часто приходят в головы молодых интеллектуалов, которые лишены перспективы роста и карьеры. Инфляция начала 1920-х гг. разорила бюргерство, мировой экономический кризис, начавшийся в октябре 1929 г., ударил сильнее всего по Германии (встала работавшая на экспорт промышленность) - голод и нищета стали уделом миллионов безработных. Именно в это время происходит окончательное оформление основных политических проектов «консервативной революции».

Любая классификация страдает односторонностью, но если брать исключительно политическую ориентацию множества авторов, кружков, печатных изданий и т.п. объединений, то хорошо заметны три различных течения. Каждое из них на свой манер сочетает цели внутренней и внешней политики, в каждом из них присутствует идея «немецкого социализма» («прусского», «национального», «народного», «солдатского» и т.п.). Каждый из трех проектов был связан с конкретными политическими группами и политиками последних лет Веймарской республики. При общем стремлении ликвидировать республику, разогнать парламент («говорильню» - *Schwaetzbude*) и уничтожить все партии, отменить Версальский договор, эти проекты различались по социально-экономическим целям внутри Германии и по геополитическим целям вовне. Все они желали «Третьего Рейха», но представления о нем были весьма различными, и, разумеется, все эти проекты отличались от национал-социализма и были ему более или менее враждебны, хотя бы потому, что расовая биология ими отвергалась как примитивный натурализм.

Первый из этих проектов иногда характеризуется термином позднего средневековья - «гибеллины». Работа Канторовича о Гогенштауфене была прочитана всеми идеологами этого направления, равно как и труд Л. Циглера о священной империи. Германия изначально была не нацией, но империей, а потому даже сам термин «нация» подвергается критике - это порождение либеральной эпохи. «Консервативная революция» здесь мыслится как восста-

новление вечной иерархии ценностей, а тем самым и истинной земной иерархии. Главным идеологом этого направления можно считать Эдгара Юлиуса Юнга. Он дал такое определение: «Консервативной революцией мы называем восстановление всех тех изначальных законов и ценностей, без которых человек утрачивает связь с природой и с Богом и не может установить никакой истинный порядок». Всякое общество иерархично, иерархии нет лишь в куче мусора; старые немецкие элиты привели страну к хаосу, новая аристократия должна восстановить порядок. Либерализм здесь предстает как орудие разложения и разрушения. Консерваторов и революционеров объединяет враждебность не только к либеральным ценностям, но и к самому типу либерального человека - торговашу и парламентскому болтуну, риторичному буржуа, представителю «внутренней Англии» в Германии. «Консерватизм есть исторически необходимый революционный принцип, посредством которого будет отменено либеральное столетие», - писал Юнг в 1934 г. Консерватором является вовсе не тот, кто хватается за настоящее или мечтает вернуться в прошлое, но тот, кто свергает «неполноценных», уничтожает разложившееся общество ради вечных ценностей.

Работа «Пруссачество и социализм» положила начало не соединению идей консерватизма и социализма вообще, но именно той его трактовке, которая господствовала среди так называемых «младоконсерваторов». Пруссачество - вот немецкий социализм, где сам король говорил о себе как о первом слуге или чиновнике государства. Каждый индивид здесь и работник, и солдат, занимающий свое место в иерархии. Промышленник или банкир является менеджером, т.е. офицером или генералом в нации - армии. Ответом на «восстание масс» является новая аристократия, ценности которой сверху вниз спускаются на массы. Хорошо известен взгляд Шпенглера на русский большевизм, который, по его мнению, вообще не имеет ничего общего с марксизмом, но представляет собой народный бунт против насильственно навязанной верхами западной городской цивилизации - об этом подробно говорится во втором томе «Заката Европы», а политические следствия выведены в докладе, произнесенном 14 февраля 1922 г. («*Das doprelantlitz Russlands und die deutschen Ostprobleme*»). Шпенглер в молодости начинал учить русский язык, придавал огромное значение русской литературе - еще в письме 1916 г. он писал о том, что

с Достоевского начинается новая культура, культура следующего тысячелетия (с которой «царизм и великая держава - Россия не имеют ничего общего») и сравнивал Достоевского с Данте и с Вольфрамом фон Эшенбахом. К «рабочему вопросу» на Западе происходящее в России не имеет никакого отношения, поскольку Россия представляет собой едва рождающуюся культуру, тогда как Запад вступил в эпоху цивилизации.

По существу, социализм для Шпенглера равнозначен цезаризму, истинными социалистами являются элиты, способные дисциплинированно служить высшей цели. Социализм такого рода не предполагает какого-либо особого экономического принципа: «Социализм, - писал Шпенглер в 1932 г., - предполагает частную собственность и присущую древним германцам радость от власти и добычи». В отличие от некоторых других «младоконсерваторов», которые все же пытались представить сословно-корпоративное государство как «немецкий социализм» (ссылаясь то на Фихте и Гегеля, то на О. Шпанна), Шпенглер высмеивал любой «коллективизм» как потребность человека черни раствориться в массе таких же слабых и недоразвитых. В «Годах решения» (1933) он писал, что его работа «Пруссачество и социализм» была неверно понята многими представителями «национального движения» - единственный социализм, о котором он говорил, сводится к воле и характеру, к прусской дисциплине.

Хотя Jungkonservative много писали об «органической демократии» и «немецком социализме», отличали себя от «реакционеров», желавших возврата к монархии, демократия здесь на деле сводится к сословному представительству, а социализм лишен всякого экономического содержания. Идеалом является авторитарное государство, все партии распускаются. Сохраняются прежние отношения собственности, но капиталистическая экономика регулируется и направляется государством. Итальянский фашизм подвергается критике за то, что идея корпоративного государства не была здесь реализована, равно как и за демагогическую мобилизацию масс. Власть прежних элит не должна ставиться под угрозу партийным аппаратом фашистской партии. Herrenklub Генриха фон Глейхена на конец 20-х - начало 30-х гг. XX в. был клубом промышленной, военной и дипломатической элиты, поддерживавшей планы Гинденбурга и его окружения - постепенно ликвидировать Веймарскую республику, сменив ее то ли на президент-

ский авторитарный режим, то ли на монархию. Собственно говоря, не имевшие за собой парламентского большинства кабинеты Брюнинга (он был членом «Июньского клуба» в начале 1920-х гг.) и фон Папена (члена «Клуба господ») осуществляли эту программу. Основные документы, вышедшие за подписью фон Папена, писались в 1932 г. ведущим идеологом «Клуба господ» Шотте, в 1933 г. его секретарем стал Э.Ю. Юнг.

Геополитические планы после восстановления «закона и порядка» заключались в отмене Версальского договора, ремилитаризации, усилении роли Германии в Европе. При всей вражде к Антанте это не исключало будущего союза с Францией (сторонником его был фон Папен) в совместном военном походе против Советской России. Национал-социалисты после выборов 1930 г. стали опасными конкурентами, и в этих кругах не раз дебатировался вопрос об одновременном запрете нацистской и коммунистической партии. Но в нацистах видели и потенциальных союзников в борьбе с «системой» (как именовалась Веймарская республика), их пытались «приручить». Хорошо известно, к чему это привело в январе 1933 г.: мечтавшие о восстановлении своей власти старые элиты оказались сметенными за пару месяцев и в большинстве своем стали служить новому порядку. Пытавшиеся противостоять были уничтожены, как Э.Ю. Юнг.

Безусловно, немецкое сопротивление нацизму, ряд заговоров, вплоть до покушения на Гитлера в июле 1944 г., были героическими деяниями представителей этих элит, прежде всего прусского офицерства. Но на них лежит и огромная ответственность за приход Гитлера к власти, а идея христианского Запада как империи (при доминирующей роли Германии) приобрела черты «нового порядка» и невиданного в истории варварства «расы господ». Пересмотр прежних позиций немецкими консерваторами начался слишком поздно. Только в эмиграции Герман Раушнинг мог написать в «Революции нигилизма» (1938): «Консерватизм как старой, так и новой чеканки стал жертвой ошибки, отождествив собственные политические принципы с лозунгами крайнего шовинизма. Консерватизм, конечно, национален, но не шовинистичен. Шовинизм есть революционная по своему происхождению форма якобинства. Консерватизм и монархизм видят свою задачу в установлении и сохранении долговременного порядка, тогда как национализм в узком смысле слова есть динамит, подрывающий всякий

порядок. В нашем нынешнем западноевропейском положении консерватизм возможен лишь как федерализм, но никак не в смысле империи или гегемонии». Но к этим идеям немецкие элиты придут лишь в итоге сокрушительного поражения в развязанной ими войне.

Второй проект - по аналогии с первым - также часто называли, употребляя давнее слово «гвельфы». Хотя в прошлом оно означало партию, поддерживавшую папу в средневековых итальянских городах, уместно оно хотя бы потому, что представители этого течения считали, что империя равнозначна федерации или конфедерации народов Центральной и Восточной Европы. Основные идеи «гвельфов» были сформулированы еще в начале 1920-х гг. в «Третьем Рейхе» и «Праве молодых народов» Меллером ван ден Бруком. Он был не только сторонником Ostorientierung, но и сторонником «немецкого социализма», образцом которого и для него служила Пруссия. У каждого народа, - писал Меллер в 1920 г., - свой собственный социализм. Большевизм есть русский социализм и столь же русским является то, что направляющая это движение воля находится в голове татарского деспота, засевшего в Кремле белых царей. Его стражу составляют азиаты, палачами у него служат китайцы. Из тех же самых миллионов, которые два года назад оставили войну, ибо хотели мира и только мира, образовалось новое войско. Из всей промышленности страны, которая встала вместе с революцией, работают лишь те предприятия, которые производят оружие. Русский человек терпеливо сносит тяжкую власть милитаризма новой автократии. Прежнюю полицейскую автократию царизма он воспринимал как петербургскую и западную, т.е. чуждую и враждебную народу. Но автократия социализма была избрана им самим и он ей подчиняется, он готов сражаться и умирать под красным знаменем. Вторгаясь в Азию и угрожая Индии, большевизм вступает в конфликт с Англией, воюя с Польшей, он борется с Францией. «Он нацелен на наших врагов. Это связывает русский социализм с немецким. Не должны ли они совместно вести эту борьбу?».

Но немецкий социализм может вступить в союз с русским только в том случае, если большевики признают немецкий социализм в его особенности, в его собственном праве. Большевизм мог возникнуть в стране с тонким правящим слоем, но он невозможен там, где вся нация вовлечена в организованный социальный поря-

док, где нет неграмотных, где народ привык к цивилизованной жизни, а пролетариат управляет сложными станками. Большевизм невозможен в Германии, но в ней возможен социализм. Большевизм возможен только в стране катастроф и разрывов, он динамичен. Социализм по-немецки - статичен, организован. Насажение монгольского ига и террора в Германии вызывает законное сопротивление. Различие двух социализмов в конечном счете упирается в различие русского и немецкого человека. Если признать это (и не навязывать непригодное другим), то возможен союз и совместная борьба с Западом.

Вывод Меллера таков: для нас возможна только восточная ориентация, а тот, кто ныне продолжает говорить об ориентации на Запад, ничего не понял в завершившейся войне. Войну с Западом немцы проиграли, тем самым социализм проиграл войну либерализму. «Молодые народы проиграли эту войну старым. Это осознала Россия. Поэтому она продолжает борьбу, ту борьбу, в которой рухнула Германия». Запад все равно будет вести войну с Россией, а от немцев, как от вассалов, будут требовать принять в ней участие - вот весь смысл ориентации на Запад.

Социализм неизбежен во всех странах, но он повсюду будет иметь свои особенности, свои жизненные формы. «В России он приобрел автократические формы. В Германии он примет корпоративную форму». Большевизм Германии не нужен, даже если он обойдется без террора. Немецкий социализм вообще не имеет ничего общего с классовой борьбой, он не обещает райа земного для пролетариев. Сегодня угнетаются и эксплуатируются не классы, а нации, и для «молодых наций» невозможна иная политика, кроме той, что кладет конец угнетению.

Возглавляемый Меллером Juniklub в начале 1920-х гг. объединял людей самой различной политической ориентации (иные из них, как фон Глейхен, после самоубийства Меллера в 1925 г. далеко отошли от его идей). К концу 1920-х основным выразителем этой идеологии был необычайно популярный и влиятельный журнал «Die Tat», возглавляемый Хансом Церером, который привлек к работе ряд талантливых публицистов, вроде экономиста Ф. Фрида или специалиста по Восточной Европе Г. Вирзинга. Существовали и другие группы и журналы, в частности журнал «Nahen Osten» последователя и издателя Меллера - Ханса Шварца. Основные идеи этого направления нашли свое выражение в трудах еще цело-

го ряда популярных в то время авторов, например, Августа Виннига, в прошлом занимавшего видный пост в социал-демократической партии, но исключенного из нее за участие в Капповском путче, или Вернера Зомбарта с его экономическими и социологическими работами 1920-1930-х гг. (важнейшая из этих работ, «Немецкий социализм», вышла в 1934 г.). Стоит отметить и то, что сходные идеи получили распространение и среди части социал-демократов («молодых социалистов», журнал «Neue Blätter fuer den Sozialismus») и представителей «левого» крыла в НСДАП (братья Штрассеры).

Представители этого направления в отличие от гибеллинов употребляли слова «социализм» и «революция» всерьез. Не будь словосочетание «национал-социализм» прочно связано с партией Гитлера, их вполне можно было бы характеризовать именно как «национальных социалистов». Еще в 1921 г. «Июньский клуб» вышел из щедро финансируемой немецким капиталом «Антибольшевистской лиги», поскольку идею «республики Советов» Меллер и его последователи считали вполне приемлемой. Революцию 1918 г. они критикуют именно потому, что она не была достаточно радикальной: вожди социал-демократии оказались мещанами и партийными карьеристами, желающими лишь места депутата в парламенте. Марксизм отвергается и потому, что он интернационален, а не национален, и потому, что он является зеркальным отображением либеральной доктрины - в обоих случаях доминируют экономический материализм и детерминизм. Марксистская доктрина есть порождение специфических условий Англии середины XIX в., она совершенно не учитывает роли государства в экономике и была опровергнута эпохой империализма и мировой войной. Основанием доктрин свободной торговли, мирового рынка было господство Англии в XIX в., а после войны - Англии и США. Германии в этой системе уделено место колонии.

Именно поэтому примером для Германии должна служить Советская Россия, которая путем радикальной революции избавилась от прежней капиталистической элиты, выступавшей за включение в мировой рынок, и разорвала цепи, выйдя из системы колониального угнетения. Германия должна идти тем же путем, более того, она должна способствовать антиколониальным революциям других народов. Но для этого необходимо свергнуть власть тех, кого марксисты называли «компрадорской буржуазией», т.е. при-

казчиков и полицейских мирового капитализма. «Консервативная революция» мыслится здесь как соединение социальной и национально-освободительной революции. Истина социализма заключается в том, что рабочее движение вело на протяжении XIX в. борьбу за подъем, за интеграцию в нацию исключенных из нее пролетариев. Итогом этой борьбы оказалось индустриальное общество, в котором все являются работниками. Разделение труда делает всех тружениками огромной машины, которой нужны квалифицированные специалисты, а не рантье, по одну сторону, или лишь продающие свою рабочую силу, по другую сторону. Эпоха свободной конкуренции привела к возникновению картелей, трестов, концернов, которые тесно связаны с государством, с механизмами регулирования и планирования. Этот целостный социально-экономический и технический организм уже не может оставаться классовым государством. Субъектом истории перестает быть тот или иной класс, им становится весь народ (Volk). «Революция справа» в этом смысле есть продолжение и завершение «революции слева», ибо именно она завершает становление бесклассового государства.

В условиях начавшегося в 1929 г. экономического кризиса публицисты журнала Die Tat идут еще дальше. Церер и Фрид убеждены в том, что век капитализма завершается. Собственно говоря, они развивают идеи Зомбарта о «позднем капитализме» (именно он, а не теоретики Франкфуртской школы, ввел этот термин). Фаза стагнации перешла в разрушивший мировой рынок кризис, принципы либерализма и свободной торговли доказали свою полную несостоятельность. Страны «священного союза капитализма», Англия и Франция, еще выживают за счет своих колоний, а США за счет Латинской Америки (доктрина Монро), но Германия колониями не обладает, а потому она способна защищать свой суверенитет только в борьбе против международной капиталистической системы. Это означает выход из системы, автаркию, а это требует реаграризации Германии, чтобы снабжать себя основными продуктами питания. Выводы отсюда делаются радикальные. Церер и Фрид требуют введения государственной монополии на внешнюю торговлю, национализации банков, угольной и сталелитейной промышленности, морского и речного транспорта. Налоги на наследство должны существенно возрасти, требуются законы, регулирующие операции на бирже. Реаграризация предполагает на-

ционализацию поместий юнкеров, которые затем должны преобразовываться в кооперативы мелких собственников - крестьян.

Значительная часть социал-демократической программы, которую не решились в 1918 г. реализовать трусливые вожди социал-демократии, должна быть осуществлена движением, которое объединяет крайне левых и крайне правых и ориентируется на мелкую буржуазию, «белых воротничков», крестьян, чиновников - все они пострадали от экономического кризиса ничуть не меньше рабочих и быстро революционизируются. Во внешней политике этот проект предполагает конфедерацию стран Центральной и Восточной Европы - в противостоянии с Западом. *Mitteleuropa, Zwischeneuropa* - вот главное направление немецкой политики. Эта конфедерация может оказаться в союзнических отношениях с Советской Россией, и тогда единое экономическое пространство будет от Рейна до Владивостока. *Ostorientierung* не означает здесь *Drang nach Osten*, каких бы то ни было захватов, но мирное и взаимовыгодное сотрудничество со странами, которые ничуть не меньше Германии стали полуколониями Франции и Англии. Начиная с Меллера ван ден Брука, гвельфы отличались изрядной русофилией, а Достоевский у них вообще является одним из чаще всего цитируемых авторов. В то же самое время они подчеркивают отличия немецкого социализма от русского, что связано с иной культурной традицией. Германия выступает истинным центром, серединой между западной рациональностью и восточным мистицизмом и квиетизмом. Пруссия, исторически возникшая из смешения немцев со славянами и литовцами, является своего рода мостом. Изначально националистический проект становится проектом конфедерации, что позволяет решить проблему национальных меньшинств (прежде всего - самих немцев в Судетах и Верхней Силезии).

В начале 1930-х гг. эта идеология была связана с политикой генерала фон Шлейхера, последнего канцлера Веймарской республики. О его связях с журналом «Die Tat» хорошо известно, имеются сведения о поддержке политической программы генерала частью крупной промышленности, причем наиболее современных отраслей (электротехника, химия), тогда как фон Папена, и в особенности Гитлера, поддерживали Крупп и другие «бароны» старых отраслей промышленности. Получивший прозвище «социальный генерал» фон Шлейхер хотел опереться на профсоюзы и отко-

лоть от НСДАП левое крыло Г. Штрассера, переговоры шли и с социал-демократами. Эта коалиция так и не состоялась, а старый рейхспрезидент Гинденбург под влиянием своего окружения и в особенности фон Папена вручил власть Гитлеру. Генерал фон Шлейхер был застрелен вместе с женой 30 июня 1934 г.

Третий проект не мог получить какого-либо средневекового названия, поскольку тут мы имеем дело с идеологией, к которой термин «консерватизм» вообще может быть применен только со множеством оговорок. Одна из многочисленных небольших организаций, возглавляемая Эрнстом Никишем, дала ему наименование «национал-большевизм». В действительности таких групп было много, просто Никиш был самым талантливым в этих кругах мыслителем и публицистом. Первая группа - «гамбургский национал-коммунизм» (Вольфхайм, Лауфенберг) - возникла еще в начале 1919 г., и с апреля 1920 г. существовала под названием «Коммунистическая рабочая партия Германии», которая вела яростную борьбу с подчинявшейся Москве компартией. Но и в самой КПП периодически появлялись националистические тенденции (так называемый *Scheringerkurs* на 1931 г.). Коммунисты активно поддерживали *Landvolkbewegung*, в котором социальные требования крестьян соединились с национальными. Ранее уже упоминалась *Freikorps Oberland* во главе с Беппо Ремером; в 1920-е гг. существовало несколько групп *buendnischer Sozialismus*, в 1930-е - *Gruppe Sozialrevolutionaere Nationalisten* (Карл Отто Петель), называемый по имени журнала «*Gegnerkreis*» во главе с Харро Шульце-Бойзенем, который затем эволюционирует к коммунизму, возглавляет одну из самых значительных групп Сопротивления «Красная Капелла» - она была целиком расстреляна в 1942 г. Журнал «*Widerstand*» Никиша был главным печатным органом, а наиболее оригинальным мыслителем здесь является формально не входивший ни в одну из групп Эрнст Юнгер.

Целью всех этих групп была социалистическая революция, которая одновременно выступала как национальная. Если гибеллины смотрят в прошлое, а гвельфы все же хотят спасти какие-то элементы сословного государства, то в «солдатском социализме» Юнгера и национал-большевизме Никиша прежнее общественное устройство отвергается полностью. Исходный пункт здесь национальный - либеральный капитализм воспрепятствовал тотальной мобилизации экономики во время войны, а потому она была про-

играна. Обновление немецкого государства означает избавление не только от либерализма и парламентаризма; нельзя удовлетвориться авторитарным режимом вроде итальянского фашизма; в Гитлере тут видят наемника крупного капитала, он - «проклятие Германии» (так называлась вышедшая в 1932 г. брошюра Никита). Пруссия является образцом и для Никиша, который считал фашизм порождением католического «Юга». Для возрождения Германии нужно истребить власть денег и деление на классы, необходимы плановая экономика, коллективизация сельского хозяйства и уничтожение юнкерского сословия. Все это - программа национальной революции. *Ostorientierung* означает здесь экономический и военный союз с Советской Россией. Никиш, посетив СССР в 1931 г., в своих статьях прославляет опыт пятилетки, индустриализации и коллективизации, и пишет о том, что планирование у поработанных народов не может быть менее глобальным и менее тотальным, чем у тех, кто их поработил. Революция должна распространиться на все колониальные страны. Пятилетний план в России демонстрирует всему миру, на какие жертвы может пойти народ, которому угрожает мировая капиталистическая система¹. Век личных свобод кончился, пришла эпоха «коллективного планирования».

¹ Достаточно сравнить взгляд Никиша на индустриализацию в СССР с воззрениями гибеллинов и гвельфов, чтобы понять различия и в остальных позициях. Журнал Церера «Die Tat» помещает осторожные аналитические статьи, в которых не отрицается чудовищная жесткость коллективизации и индустриализации в условиях диктатуры, но выводы делаются реалистичные: Советская Россия быстро меняется, она способна стать как полезным союзником, так и опасным соперником Германии. В журнале гибеллинов «Der Ring» пятилетние планы высмеиваются как «потемкинские деревни». Шпенглер был близок именно этому - достаточно близорукому - взгляду. В «Годах решения» он писал о том, что ничего кроме варварского насилия и угрозы голодной смерти «азиатская деспотия» не принесла и не принесет. Большеизм в России умер - это единственная держава, которой он не угрожает, поскольку большеизм есть продукт разложения городской цивилизации Запада, тогда как в России она была просто сметена во время революции. Всякий социализм ведет к всевластию бюрократии, а в СССР попытки его осуществления привели к одичанию и голоду, которые способно сносить только «слабовольная и рожденная для рабского существования раса». Опасность эта азиатская деспотия представляет для Запада лишь потому, что она ведет подрывную пропаганду в колониях - таков вывод Шпенглера.

Рабочий у Юнгера и Никиша - это новый человеческий тип, в жизненном мире рабочего доминирует не индивидуальность, но дисциплина и разделение труда; свобода понимается как наличие работы, возможность творческой деятельности, а не как свобода бездельника-рантье или парламентская говорильня. Рабочий готов подчиняться суровой реальности совместного труда и исполнять приказы тех, кто наделен техническими и организационными талантами. Правят те, в ком рабочий видит «первого слугу, первого солдата, первого рабочего». Рабочий - это одновременно солдат, завоевывающий мир с помощью техники и преобразующий мир в «технический ландшафт», «имперское пространство». Природа организуется и видится в перспективе технического господства, а сама человеческая природа меняется вместе с искусственными органами техники и промышленности.

Эта социальная и техническая утопия, равно как и «тотальное» прочтение истории напоминает не столько консерватизм, сколько труды левых гегельянцев (превращение «класса в себе» в «класс для себя» у Лукача, диалектику господина и раба у Коже-ва). Здесь отсутствуют какие бы то ни было отсылки к немецкому романтизму, характерные для всех немецких консерваторов. На место *Gemeinschaft* тут приходят тотальная мобилизация и планетарная техника. Исходный национализм сменяется универсальным образом всемирной революции и царства труда (у Никиша в этом смысле наиболее характерна работа «Третья имперская фигура»). Конец этого проекта был тем же, что и у остальных - внутренняя эмиграция одних, участие в Соппротивлении других. По процессу подпольной организации Никиша проходило более ста человек, а сам он был приговорен к пожизненному заключению. Последней политической программой этой ориентации являются документы *Das Nationalkomitee Freies Deutschland*.

Общим для всех трех проектов является не только отрицание Версаля и Веймара. Все они объединяют немецких националистов, которые приходят к тому или иному наднациональному проекту: западная цивилизация и объединенная христианскими ценностями в империю Европа у гибеллинов, конфедерация народов Центральной и Восточной Европы у гвельфов или универсализм царства рабочего в национал-большевизме. И все отличаются от того проекта, который был осуществлен национал-социализмом. «Консервативная революция» не была чем-то вроде «троцкизма» в рам-

ках национал-социализма, как определил ее Армии Молер. Это сближение с нацизмом, естественное для автора, который, будучи швейцарцем, перебрался в Германию, чтобы добровольцем вступить в Waffen SS, в дальнейшем переходило из одной книги в другую. Формула оказалась удобной для тех, кто во всяком немецком национализме видит либо предшественников, либо пособников национал-социализма.

Конечно, нечто общее с «консервативной революцией» имелось в нацистской пропаганде Геббельса (в прошлом - «левого», близкого братьям Штрассерам); даже Розенберг в «Мифе XX века» писал: «Тот, кто желает сегодня быть националистом, должен быть социалистом. И наоборот, социализм фронтовых серых шинелей 1914-1918 гг. станет государственной жизнью». Но для Гитлера и его окружения «социализм» был лишь демагогическим лозунгом. Отличия от «консервативной революции» связаны не только с тем, что ее идеологи не были расистами. Во внешней политике тот же Розенберг - вслед за известными тезисами Гитлера в «Mein Kampf» - видит главную цель национал-социализма в завоевании «жизненного пространства» на Востоке «для миллионов будущих немцев». Им отвергается имперский проект гибеллинов - любое такое объединение будет «Франко-Иудеей», а не Европой. Еще резче он пишет о проекте гвельфов: без расового базиса Mit-teleuropa будет служить чуждым Германии интересам, тогда как национал-социализм озабочен исключительно защитой интересов нордического человека. Целью является германизация Европы, а у России нужно отнять Украину и Кавказ. Поэтому он прямо обрушивается на Меллера и его наследников, писавших о возможном союзе Германии как с Советской Россией, так и с народами колоний в борьбе с Антантой. Расово неполноценные не имеют никаких прав, и нечего давать свободу всяким неграм и азиатам, им следует оставаться во власти нордической Англии. Розенберг выступает за союз с Британией и Италией, направленный против России (то, что Британия вообще вступила в войну с Германией в 1914 г., объясняется происками еврейских финансистов). Есть интересы белой расы, а потому Британии нужно даже помочь в правлении Индией. Розенберг критикует и Шпенглера за пессимизм «Заката Европы» (правда, даже по претенциозной стилистике хорошо заметно, насколько автор находился под влиянием Шпенглера).

Взгляд на Россию этого прибалтийского немца хорошо известен: ее населяет смешанное с татарами дикое население, которое является законной «добычей» для германцев. После войны Розенберг был повешен не за свои теоретизирования, но за то, как эти планы под его руководством осуществлялись на оккупированных территориях. Все проекты «консервативной революции» принадлежат исторической ситуации, которая изменилась вместе с приходом Гитлера к власти. После войны и в условиях противостояния двух блоков все они утратили всякую актуальность. Немецкие консерваторы, которые видели в Америке главного врага в 1920-е годы, стали лучшими учениками и союзниками, тогда как сторонники «немецкого социализма», желавшие быть союзниками СССР, могли теперь быть только исполнителями приказов из Москвы. Конечно, у «консервативной революции» были наследники. В теории к ней восходят концепции индустриально-технического общества Гелена, Фрейера, Форстхоффа, в какой-то мере последователями можно считать часть немецких правых (скажем, из журнала «Criti-con»). Но это уже не консерваторы, а «новые правые», которые выступают как яростные противники любой плановой экономики. Любопытно то, что и правые и левые в сегодняшней Германии сходным образом фальсифицируют историю, сводя «консервативную революцию» к национализму и шовинизму - одни со знаком «плюс», другие со знаком «минус». И тем и другим не хочется вспоминать о том, что немецкие консерваторы были сторонниками социализма, понимали его радикальнее и глубже, чем «левые», да еще были яростными противниками Рах americana, что на сегодняшний день является поводом для немедленного обвинения в «правом экстремизме» (если не «национал-социализме»).

В любом случае для Германии «консервативная революция» является историей, здесь отсутствуют какие бы то ни было условия для ее возобновления. Этого нельзя сказать о других странах. На протяжении 1960-1970-х гг. в самых разных странах существовали движения, столь часто называвшиеся одним словосочетанием FLN - фронт национального освобождения, сочетавшие национализм и социализм. В России сегодня есть партии прямо заимствующие основные лозунги «консервативной революции» - от автаркии и цезаризма («регулируемой демократии») до «национал-большевизма». В любой стране, включенность в мировой рынок

для которой сводится к роли поставщика сырых материалов, где десяткам миллионов нищих противостоит прозападная элита, идеи «консервативной революции» вновь обретают плоть и кровь. История не завершилась, ее ход вряд ли пойдет по сценарию Фукуямы или Бжезиньского. Мы не знаем, какие идеи будут в умах мексиканцев или индийцев, китайцев или индонезийцев через полвека. Как говорится в титрах под конец фильма Кустурицы «Underground»: «This history has no end».

ВЕРНЕР ЗОМБАРТ - ИСТОРИК КАПИТАЛИЗМА

Вернер Зомбарт почти забыт немецким научным сообществом, которое редко вспоминает о том, что он, наряду с М. Вебером, Г. Зиммелем и Ф. Теннисом, является одним из основоположников социологии, что в 1920-е гг. он считался ведущим немецким экономистом, а его поздняя работа «Человек» относится к классическим произведениям философской антропологии. Отчасти это забвение связано с тем, что науки развиваются, концепции устаревают - кто читает сегодня позавчерашних «властителей дум», кто станет через пару десятилетий читать нынешних? Широкою известность Зомбарту принесли две работы: «Социализм и общественное движение в XIX веке» (1896) и «Современный капитализм» (1902); считается даже, что именно благодаря Зомбарту термин «капитализм» получил распространение в научном сообществе, т.е. за пределами пропагандистской литературы II Интернационала. Однако с тех пор и о социализме, и о капитализме написаны целые библиотеки. В области философии Зомбарт был явным дилетантом (в сравнении с такими представителями философской антропологии, как А. Гелен или Х. Плеснер), предложенный им вариант «понимающей социологии» сегодня никто не поставит вровень с трудами Вебера или Зиммеля. Наконец, экономическая наука говорит ныне на совсем другом языке, чем в начале XX в.

Однако забвение трудов Зомбарта в Германии связано и с тем, что о нем не слишком хотят вспоминать, не говоря уже о том, чтоб чтить его как «классика». Репутация немецкого националиста, враждебного прежде всего англосаксам, была достаточной причиной для того, чтобы «перевоспитанные» американцами не-

мецкие социологи и экономисты либо не упоминали о нем вообще, либо писали небывлицы о «сотрудничестве с нацистами». Если открыть сайт Encyclopedia Britannica, то о Зомбарте можно прочесть следующее: «...немецкий историк-экономист, включивший марксистские принципы и нацистские теории в свои писания о капитализме» (German historical economist who incorporated Marxist principles and Nazi theories in his writings on capitalism). Для марксистов Зомбарт был и остается «предателем», либералы всегда считали его противником, поскольку начинал он с синтеза «исторической школы» с марксизмом, а затем стал не просто националистом (таковых хватало и среди либералов), но автором «Немецкого социализма». Так как эта книга вышла в 1934 г., то ее очень легко было истолковать как «нацистскую», что и делает подавляющее большинство авторов учебников по истории экономики и социологии (чаще всего саму книгу не читавших).

Так как в предлагаемое читателю издание входят работы Зомбарта, написанные в 1910-е гг., то мы затронем только одну сторону его творчества, а именно его трактовку возникновения капитализма. В кратком предисловии нет возможности хоть сколько-нибудь полно охарактеризовать контекст. Ограничимся указанием на то, что на ту же тему тогда писали такие мыслители, как М. Вебер, Ф. Теннис, Г. Зиммель, Э. Трельч, М. Шелер - они спорили друг с другом, с предшественниками (прежде всего с Марксом). Вопросы были поставлены самим обществом, переживавшим чрезвычайно быстрый слом институтов *ancien régime*, на месте которых возникали невиданные ранее в истории социальные структуры индустриального общества. Социология как наука появилась именно потому, что общество стало более сложным, непрозрачным, развивающимся по непонятным законам и в неведомом направлении. На середину XIX в. Германия была раздробленной на десятки мелких княжеств сельской страной с небольшими городами и замками феодалов; к началу XX столетия это было государство с мощной промышленностью, преобладанием городского населения, всеобщей грамотностью; она сделалась единой империей, ведущей борьбу за передел мира («за место под солнцем», как заявил германский канцлер) с другими империями той эпохи.

У этой охватившей весь мир, словами К. Полани, «великой трансформации» имелись предпосылки в европейской истории –

ведь только в Европе развитие общества пошло по этому пути, тогда как существовавшие тысячелетиями цивилизации Востока так и не перешли к индустриальному обществу. Именно выявление этих предпосылок составляет содержание тех работ Зомбарта, которые доныне не устарели - «Буржуа», «Роскошь и капитализм», «Война и капитализм», «Евреи и хозяйственная жизнь». Зомбарт остается одним из лучших историков становления капиталистической экономики, но как истинного историка его интересовали не только структуры и институты, но прежде всего люди, представители того «третьего сословия», которые неожиданно для самих себя «стали всем».

Как люди становятся буржуа, Зомбарт знал по истории собственной семьи. Согласно существовавшей в ней устной истории (или легенде) Зомбарты были выходцами из французских гугенотов, бежавших в Германию в конце XVII в. Отец, Антон Людвиг Зомбарт, был продолжателем славных дел кальвинистской «внут-римирской аскезы» или, иначе говоря, стяжательства во имя спасения. Типичный для эпохи грюндерства *self made man*, он сделался из землемера крупным землевладельцем и промышленником - своим четырем детям он оставил в наследство более миллиона марок. Антон Людвиг был известен как либерал, сторонник социальных реформ, был депутатом Рейхстага (1867-1878), но затем отказался участвовать в выборах, поскольку его партия постепенно отошла от заветов либерализма и вступила в союз с прусским юнкерством. Впрочем, совсем от политики он не отошел, оставаясь до 1893 г. депутатом прусского ландтага. Вернер был младшим из детей, он родился 19 января 1863 г. в Эрмслебене. Отношения его с отцом были сложные, с братьями и с сестрой он тоже почти не общался (братья были 1842 и 1843 гг. рождения, т.е. на 20 лет старше, сестра была старше на 13 лет). Что такое кальвинистская добродетель, он испытал лично: отец, по свидетельству современников, был человеком невообразимой скупости, постоянно повторявшим: «Богатым человек становится не тем, что он зарабатывает, а тем, что он не тратит». Неделями он не обменивался с сыном ни единым добрым словом, полагая, что суровое воспитание укрепляет характер и учит жизни.

Судя по всему, Вернера эта атмосфера просто подавляла, что сказывалось даже на учебе. Несмотря на раннюю любовь к чте-

нию, он посредственно учился, пока жил в семье, но с переходом в другую гимназию и жизнью в пансионе без родительской опеки он стал прекрасно учиться. Сегодня мы нередко слышим восторженные суждения по поводу гимназического курса, хотя и немецкая, и российская гимназия второй половины XIX столетия давала одностороннее и весьма неполное образование - древние языки, немецкая история и литература занимали основное место в программе, естественным наукам и математике почти не учили. В Германии сегодня чаще слышны критические высказывания «левых», донныне ведущих войну с гимназиями (сохранившимися ныне разве что в «реакционной» Баварии), а потому утверждающих, что в прусских гимназиях XIX в. учили прежде всего религии и патриотизму. Это столь же неверно, как и ностальгические восхваления того «гуманистического» образования, которое получало всего лишь 1-1,5 процента населения. Учили действительно неплохо и не забивали головы идеологическими штампами. Зомбарт за пару лет до окончания гимназии был атеистом и космополитом, то же самое можно сказать о многих старших и младших его современниках (скажем, Ф. Ницше или Э. Юнгере). Знание древнегреческой философии, римской истории, немецкой классической литературы было небесполезным приобретением для того, кто стал заниматься историей XVI-XIX вв.

После окончания гимназии возникли проблемы с легкими, а потому Вернер провел некоторое время в Швейцарии, а затем начал учиться в университете в Италии (Пиза). В Швейцарии он встретился со своей будущей женой (из немецкой семьи, жившей в Италии). В Италии у него возник конфликт с другими немецкими студентами из-за отказа участвовать в ритуальных попойках и дуэлях. На обвинение в трусости он ответил предложением стреляться, а не отделяться ударами рапир, оставляющих красивые шрамы на щеках; требования «кодекса чести» были тем самым соблюдены. В 1882-1885 гг. он учился в Пизе, Берлине и Риме, изучая, наряду с экономикой, право, историю и философию. Учителями в области экономики были виднейшие представители «исторической школы», Г. Шмоллер и А. Вагнер. В 1888 г. Зомбарт защитил диссертацию о хозяйстве римской Кампании под руководством Шмоллера. Часть текста диссертации стала первой книгой Зомбарта, которая привлекла к себе внимание специалистов.

Получив степень доктора, Зомбарт проработал пару лет в Бременской торговой палате, затем начал преподавать в Бреслау. Уже имевшаяся репутация «красного» воспрепятствовала ему в получении поста в более престижных университетах Фрайбурга, Гейдельберга и Карлсруэ. В 1896 г. вышла первая крупная работа Зомбарта «Социализм и социальное движение в XIX столетии» - по этой книге с марксизмом стала знакомиться образованная публика за пределами социал-демократической партии. Хотя в эту партию Зомбарт никогда не вступал, в те годы он печатался в социал-демократических изданиях и считался почти «своим». Известна оценка Энгельса, назвавшего Зомбарта единственным немецким профессором, сумевшим понять «Капитал»; в канон марксистских штудий вошло письмо Энгельса Зомбарту от 11.03.1895 г. В 1902 г. публикуется первое издание трехтомного труда «Современный капитализм», который принес Зомбарту широкую известность уже в академическом мире. В 1906 г. Зомбарт перебирается в Берлин, он преподает в Высшей школе торговли (в Берлинском университете ему чтение лекций воспрещено как «социалисту»). В это же время он вместе с М. Вебером начинает издавать первый немецкий социологический журнал «Архив социальной науки и социальной политики». В дальнейшем он принимал большое участие в институционализации социологии как науки, долгое время был президентом немецкого социологического общества. Близким другом Зомбарта был Ф. Теннис, он поддерживал неплохие отношения и с М. Вебером, хотя и в области теории, и в политике они были, скорее, оппонентами.

Вряд ли есть нужда в том, чтобы подробно рассказывать о личной жизни Зомбарта - о сложных отношениях с коллегами-экономистами, о славе Дон Жуана или о втором браке, о трудной жизни во времена Веймарской республики и в нацистском рейхе. Интересующимся этими деталями можно посоветовать прочесть книгу его сына Николауса Зомбарта, биографическое исследование Ф. Ленгера¹. Из свидетельств, касающихся личности Зомбарта, обратим внимание только на то, что характеризует его мирозерцание на то время, когда он писал свои труды о становлении капи-

¹ *Lenger Friedrich. Werner Sombart 1863-1941. Eine Biographie. - Mtinchen: C.H. Beck Vlg, 1994.*

тализма. Одна из слушательниц лекций Зомбарта, социалистка по убеждениям, написала роман, в котором персонаж - модный берлинский профессор, за которым с легкостью угадывается Зомбарт, произносит речи, которые выдают, скорее, нищеанца, чем социалиста. Буржуа интересен ему как наделенный особого рода витальностью тип человека; он перевернул весь прежний мир, но ныне он сделался либо рантье, либо бюрократам в тресте. Рабочее движение привлекает такого нищеанца только потому, что в типе рабочего видна «свежая кровь», тогда как буржуазный мир стал невыносимо пошл и скучен. Но творили капитализм не скопидомы, а куда более интересные человеческие типы. Именно их мы обнаруживаем на страницах книг Зомбарта.

Строго говоря, марксистом Зомбарт никогда не был, но вплоть до Первой мировой войны он считался таковым и, скорее всего, сам себя зачислял в марксисты. Стоит заметить, что второе издание «Современного капитализма» (1916) существенно отличается от первого: хозяйственные и социальные отношения выступают как порождения определенного «духа», понимаемого, конечно, не в духе Гегеля, но исторической школы. Капитализм возникает вместе со сменой ментальности, основных установок людей, которые перестают следовать заданным традицией образцам, порывают с общинами (гильдиями, цехами), действуют на свой страх и риск, стремясь к индивидуальному обогащению. Новая ментальность одновременно заявляет о себе в бухгалтерских книгах, в интересе к математике и экспериментальному естествознанию, в архитектуре и в живописи.

Протестантизм был лишь одним из проявлений нового душевного уклада. Зомбарт вел полемику со своим другом М. Вебером не потому, что не признавал роли протестантской этики, но считал последнюю лишь одной из действующих сил в преобразовании Европы, которое длилось на протяжении трех столетий. Рядом с исповедующим кальвинизм лавочником или ремесленником оказываются такие фигуры, как захватывающие испанские галеоны английские пираты на службе Ее Величества, владельцы мануфактур, выпускающих порох и мушкеты для армий или кружева и батист для придворных дам, еврей-ростовщики и пытающиеся получить золото из свинца алхимики. Капитализм создавали грабители, откупщики, авантюристы и прочие маргиналы распадавшей-

ся средневековой системы - благочестивые трудоголики из протестантов были лишь одной из таких групп, пусть и самой многочисленной. История капитализма в России отчасти подтверждает эти тезисы Зомбарта: Строгановы и Демидовы мало чем напоминают святош, а духовные искания старообрядцев никак не связаны с лютеровским переводом Библии, в котором *Veruf* стало обозначать спасительную внутримирскую аскезу. Мануфактуры они стали создавать, поскольку были вытеснены на обочину и должны были выживать в условиях преследований.

Классическая политэкономия провозгласила «естественным» поведение «разумного эгоиста», рационально подбирающего средства для достижения своих целей. Homo oeconomicus в экономических теориях XIX века (да и в сочинениях сегодняшних неоклассиков) стремится к выгоде, а тем самым способствует общему благу, поскольку из эгоистических устремлений частных лиц «невидимая рука» рынка создает прекрасную гармонию, именуемую равновесием спроса и предложения¹. Зомбарт был наследником исторической школы, которая изначально не принимала эти тезисы. Если говорить о «естественном» человеке, то он принадлежит предшествующим капитализму формам сосуществования. Зомбарт был близок Теннису в оценке перехода от *Gemeinschaft* к *Gesellschaft*, но он не идеализировал докапиталистические общества и высоко ценил ту силу, которая за пару веков перевернула весь мир. Прежние общества следовали вековечным образцам, капиталистический мир живет конкурентной борьбой, ему присуще «творческое разрушение» - эту мысль Зомбарта разовьет в дальнейшем И. Шумпетер, который назвал эту созидательную и разрушающую силу «инновацией». Но для того, чтобы эта сила явилась в мир, она должна была переделать прежнего человека.

«Чтобы капитализм мог получить развитие, естественному, следующему влечениям человеку нужно было сначала переломать все кости; он должен был поставить на место первоизданной, изначальной жизни особым образом устроенный рациональный ду-

¹ Представления о поведении человека капиталистического общества как «естественном» развивались на протяжении нескольких столетий, но все же они являются сравнительно недавними. См.: *Дюмон Л. Homo Aequalis. Генезис и расцвет экономической идеологии.* - М., 2000.

шевный механизм, он должен был постепенно перевернуть все жизненные ценности. Homo capitalisticus представляет собой искусственное и искусное образование, являющееся следствием такого переворота»¹. Именно поэтому начинали «капиталистическую революцию» маргиналы, не находящие себе места в прежних иерархиях, остававшиеся на краю социальной жизни: как религиозные меньшинства, так и всякого рода хищники в человеческом обличий - работоторговцы, пираты, владельцы плантаций в Вест-Индии и им подобные. Зомбарт их никак не идеализирует: нувориши всегда вульгарны, а потому в появляющейся культуре Нового времени были не только гениальные полотна и книги ученых, но и много всякого рода грязи. Переворот в мире ценностей привел к тому, что гордыня и алчность стали не грехами, а достоинствами. Но как и все представители «исторической школы», унаследовавшей от романтической историографии эстетический взгляд на историю, Зомбарт описывает многокрасочную картину становления нового общества. В капитализме он обнаруживает огромную жизненную силу, и так ли важно то, что у истоков ее стояли не слишком симпатичные нам маргиналы и преступники?

К такого рода маргиналам относились загнанные в гетто евреи. Зомбарт не соглашается с Марксом, видевшим в торгашестве светскую религию еврейства, он подчеркивает три черты национальной психологии евреев, которые сыграли свою роль в рождении «капиталистического человека», а именно «преобладание воли, эгоизм и абстрактный склад их ума». Книгу о роли евреев в сотворении капитализма хвалили сионисты, ее бранили как «антисемитскую» одни и как «филосемитскую» другие. Но мало кто из аплодировавших или освиствывавших обращал внимание на то, что

¹ *Sombart W.* Die Juden und das Wirtschaftsleben. - München und Leipzig: Duncker@Humboldt, 1913.-S. 281.

«Капиталистическая система ценностей, по сути, превратила пять из семи смертных грехов христианства - гордыню, зависть, скупость, алчность и похоть - в положительные общественные добродетели, видя в них непрменные побуждения ко всякого рода хозяйственной деятельности; а главные добродетели, начиная с любви и смирения, были отвергнуты как «вредящие делу» - не считая тех случаев, когда они делали рабочий класс более послушным и покорным хладнокровной эксплуатации». *Мамфорд Л.* Миф машины. - М., 2001. - С. 361-362.

для Зомбарта речь вообще не шла о том, что «евреи создали капитализм». Это явно противоречило бы фактам - капиталистические предприятия в Германии лишь в малой части принадлежали евреям, Круппы, Тиссенсы и Стиннесы были немцами. Для Зомбарта речь шла лишь об одной из тех групп, которые готовили машину капитализма к старту. Имелись и другие группы, из которых наибольший интерес для Зомбарта представляли владельцы мануфактур, обогащавшиеся за счет рождавшихся абсолютных монархий. Армиям были нужны пушки, порох, мушкеты, шинели - в работе «Война и капитализм» Зомбарт дает картину целых отраслей промышленности, возникавших за пределами цеховых ограничений. Другая его работа, «Роскошь и капитализм», начинается с провокационного заявления: «капитализм создала европейская самка (Weibchen)», с ее любовью к нарядам и к сладенькому, она способствовала тому, что рядом с военным производством появляются мануфактуры, выпускающие кружева, сахар, шоколад и т.п. товары, потребляемые сначала почти исключительно придворными дамами, но затем распространяющиеся среди провинциальных барышень, а потом и среди жен и дочерей буржуа.

Зомбарта не раз обвиняли в «психологизме», в том, что вместо «чисто экономического» анализа он отыскивает мотивы, не имеющие никакого отношения к ratio предпринимателей, недостаточное внимание уделяет изменениям технологии. Отчасти это верно, этим объясняются и некоторые явные просчеты Зомбарта, в частности, его пессимистическое видение ближайшего будущего капитализма, которое он связывал с замедлением инноваций в области техники. Но его можно считать и одним из тех авторов, которые подготавливали современный институционализм, для которого сами технические изобретения и инновации являются следствиями стимулов, приходящих не от экономики как таковой, но от многообразных социальных подсистем. Без юридической системы контроля за выполнением контрактов, без защиты прав собственности, технические новшества не внедряются; без системы образования, без заботы о культуре и искусстве чахнет и инженерная мысль. Нам все это хорошо знакомо на практике последних десятилетий: никакая «невидимая рука» не работает, пока нет тех людей, которые хотят и умеют действовать как рациональные производители, пока проще заниматься захватом и переделом, никто не

пользуется знаниями, почерпнутыми из самых лучших учебников. Социологи написали множество интереснейших исследований о тех институтах азиатских «драконов», которые способствовали десятилетиям быстрого роста - включая и исследования, опровергающие взгляды М. Вебера на конфуцианство и буддизм. Социальная реальность не делится по факультетам, а потому серьезным экономистом сегодня можно считать лишь того, кто знаком с социологией и психологией.

К психологии Зомбарт обращается и при рассмотрении следующего этапа, когда ментальность *homo capitalisticus* распространяется от маргиналов к более широким слоям. Люди разных стран и культур не в одинаковой степени одарены теми свойствами, которые потребовались новой системе отношений. В этой связи он писал о «специфическом таланте немцев к капитализму»: «Романские народы создали капитализм, германцы же заимствовали его от них и развили его в более высокие формы, значительно обогнав при этом своих учителей». Зомбарт связывает это не столько с физической силой, работоспособностью, выдержкой, сколько с такими чертами психологии, которые сложились под влиянием религиозной этики. «Ничто не поражает так южанина, путешествующего по областям скандинавской и в особенности немецкой культуры, как это терпеливое исполнение своих обязанностей во всех слоях населения, это само собой разумеющееся отработывание положенного урока, эта дельность во всем, эта скрупулезная добросовестность, которую ничем нельзя отвлечь от цели». Капитализму способствует талант специализации, «способность быть *дробным человеком*» - при содействии выдержки и дисциплины это дает «виртуозных частичных людей», примером которых являются методичные немецкие ученые и техники, инженеры и рабочие, занимающие свое место в системе разделения труда и функционирующие в этой системе подобно маленькому колесу в механизме.

Но именно то, что капитализм развивается в сторону механизации, все большего разделения труда, порождающего «частичных людей», было для Зомбарта знаком того, что «поздний капи-

Зомбарт В. Народное хозяйство в Германии в XIX и в начале XX века. - М., 1924.-С. 62.

тализм» обречен и сменится иной социальной системой. К марксистской утопии он относился с сомнением еще в ту пору, когда считался сторонником социал-демократии. Когда II Интернационал рухнул в окопы мировой войны, Зомбарт, как и большинство социал-демократов, стал поддерживать свою страну и армию. Но он пошел много дальше, сделавшись пламенным националистом. Его книга «Торгаши и герои» (1915) принадлежит к той публицистике времен Первой мировой войны, которая надолго испортила отношения между учеными мужами воевавших стран. Оскорбительных глупостей было наговорено много - достаточно вспомнить, что писали в то время русские философы (скажем, «От Канта к Круппу» В. Эрн). Французы и англичане писали о борьбе западноевропейской цивилизации с немецким «милитаризмом» и «варварством», немцы писали о борьбе с «азиатчиной» и «русским деспотизмом». Во всей этой публицистике интерес сегодня представляют только труды той группы немецких авторов, которые стали писать об «идеях 1914 года», противопоставленных «идеям 1789 года». Помимо воинственной патриотической риторики, тексты таких правых социал-демократов (Кунов, Ленш, Винниг), содержали концепцию государственного социализма, в которой образцом социально-экономического устройства была провозглашена плановая милитаризованная экономика Германии.

Наибольший интерес представляла книга И. Пленге «1789 и 1914. Символические годы в истории политического духа». Центральной мыслью Пленге было то, что война привела к истинной революции, причем революции социалистической. «Социализм есть организация», он предполагает плановое хозяйство и дисциплину, он кладет конец эпохе индивидуализма. Нация стала единым организмом, и это ведет к пересмотру представлений о свободах и правах. За лозунгами: «Свобода - в организации! Равенство - в организации! Братство - в организации!» стояла политическая теория, восходящая к «закрытому государству» Фихте и интерпретация марксизма в духе правого гегельянства. Государство как дифференцированная тотальность, плановая экономика, требующая уничтожения идей либеральной эпохи, - вот центральные положения этой теории.

Для Зомбарта эта оппозиция государственного социализма и либерального капитализма олицетворяется борьбой между Англи-

ей и Германией. Враги Германии говорят о борьбе «западной цивилизации» с «немецким милитаризмом», но в действительности речь должна идти о борьбе двух человеческих типов - торгаша и героя. Они вечно присутствуют в любой культуре, но как два доминирующих мировоззрения они самым отчетливым образом воплотились в Англии и в Германии. И английская философия от Бэкона до Спенсера, и английская политэкономия, и английская наука от Ньютона до Дарвина связаны с торгашеством. Даже на природу переносятся либерально-буржуазные представления, тогда как учение о государстве дает образ мещанской конторы. Меркантилизм присущ всей английской жизни, все войны ведутся ради прибыли, прикрываясь лицемерными словами о «правах и свободах». Английский социализм есть следствие подобного капитализма: положительный знак сменяется на отрицательный, но человек предстает в точности таким же - в духе утилитаризма и материализма.

Поэтому «война 1914 года есть война Ницше»; «немецкое мышление и немецкое чувство заявляют о себе прежде всего как решительное отрицание всего того, что хоть как-то напоминает английское, или западноевропейское вообще, мышление и чувство». Немец отвергает утилитаризм и эвдемонизм, идеи пользы и наслаждения во имя воли и духа, долга и преданности, самопожертвования и героизма. Немецкому духу присуще органическое представление о государстве, как о том панцире, который защищает народное тело. «Милитаризм» - это выражение ненавидящих Германию торгашей и купленных ими «демократических» писак. На деле речь идет о примате ценностей воина, героя. Война позволяет выявить эти высшие человеческие свойства. До войны торгашеская культура, буржуазное мировоззрение уже стали завоевывать мир своим стремлением к материальным благам и к комфорту. Однако богатство и комфорт не могут быть высшими ценностями жизни; там, где они делаются таковыми, жизнь неизбежно обречена на упадок. «Идеи 1789 года» антижизненны, поэтому против них идет «священная немецкая война», равно как против «интернационализма» торгашей, против «европейничанья» - не существует «европейца вообще», как не существует одного для всех стран языка - представители разных наций еще не дошли до того, чтобы говорить на каком-нибудь эсперанто.

Следует сказать, что Зомбарт в своей книге негативно высказывается о планах захвата территорий: ничего не нужно захватывать, никого не следует «германизировать»; историческая роль Германии заключается в том, чтобы быть дамбой на пути у грязного потока торгашества, готового захлестнуть весь мир. Разумеется, германская Realpolitik тех лет весьма отличалась от этих прокламаций, ибо речь уже тогда шла о «жизненном пространстве». Работа Зомбарта важна как этап не только его биографии (из лагеря марксистов - пусть самых умеренных - он переходит в лагерь последовательных националистов), но и в плане подготовки идеологии «консервативной революции». Внешняя оппозиция Англии и Германии переходит после войны во внутреннюю оппозицию капиталистического либерализма и «немецкого социализма». Противопоставление двух человеческих типов, проведенное Зомбартом, становится общим местом идеологов «консервативной революции». Например, Э. Юнгер в эссе «Рабочий» писал: «Существует два типа человека: первого мы узнаем по тому, что он готов торговаться любой ценой, тогда как второй готов любой ценой сражаться».

Написанные Зомбартом в 1920-1930-е гг. работы значительно менее интересны, чем труды по истории капитализма. Он становится идеологом, пишет несколько томов, в которых сводит счеты с «пролетарским интернационализмом» и марксизмом вообще. Жизнь в Веймарской республике была трудной: инфляция «съела» все накопления, на 1922 г. высшие чиновники (а к ним относились и профессора - тайные советники) получали лишь от четверти до трети своих довоенных доходов. А затем стало еще хуже.

Если в 1913 г. профессор получал в 7 раз больше зарплаты неквалифицированного рабочего, то в 1920-е гг. он получал лишь вдвое больше. Упали не только зарплаты - гонорары за книги, доклады, публичные лекции сократились в несколько раз, поскольку обнищала читающая публика. Многие именитые немецкие профессора выживали за счет того, что продавали за границу свои библиотеки. Библиотекой Зомбарта интересовались в Москве, но продал он ее в Японию. Деклассированная, пролетаризированная интеллигенция утратила не только прежний высокий статус, но и средства к существованию. Когда о нацистском движе-

нии пишут как об «антиинтеллектуальном», то чаще всего не отдают себе отчета в том, что из всех профессиональных групп в НСДАП наибольший процент составляли медики (их было больше всего и в отрядах штурмовиков), а студенческие союзы Германии стали нацистскими уже к 1930 г.

В эти годы Зомбарт попытался методологически обосновать свои работы по экономической истории - он обращается к социологии и философии. «Ноологическая социология» Зомбарта представляет собой разновидность «понимающей социологии», опирающейся прежде всего на идеи Дильтея и всего немецкого историцизма. Она интересна сегодня лишь небольшому числу историков социологии, поскольку некоторое значение сохранила лишь его критика натуралистической социологии («социальной физики») XIX века. Социология для Зомбарта есть наука, исследующая не каузальные, а смысловые связи в культуре. Психологическое понимание направлено на индивида, «ноология» есть наука о коллективных смыслах, присущих неповторимым историческим образованиям - сословиям и профессиям, полисам и нациям. Философская антропология Зомбарта заслуживает специального исследования; коротко говоря, им был предложен вариант «культурной антропологии», сходный с трудами таких мыслителей, как Э. Роткер и М. Ландманн.

Будучи одним из наиболее авторитетных экономистов Германии, да еще признанным знатоком марксизма, Зомбарт становится в 1920-е гг. ведущим автором «консервативной революции» в области экономики - статьи в лучшем журнале сделавшихся революционерами консерваторов «Die Tat» писались под несомненным его влиянием¹. Но именно поэтому совершенно бессмысленны обвинения Зомбарта в том, что он «сотрудничал с нацистами» - журнал «Die Tat» был рупором тех сил, которые стояли за последним канцлером Веймарской республики, генералом фон Шлейхером. Известно то, что последний пытался опереться на профсоюзы, расколоть НСДАП и не допустить Гитлера к власти (за это он был убит нацистами в 1934 г.). Вышедшая в 1934 г. книга Зомбар-

¹ Ведущий экономист и социолог этого журнала, Ф. Фрид, был учеником Зомбарта и развивал именно его идеи.

та «Немецкий социализм»¹ не имеет ни малейшего отношения к нацистской идеологии, нацисты препятствовали ее распространению, а студентам было рекомендовано не посещать его лекции.

Если вкратце охарактеризовать содержание этой книги, то капитализм в ней рассматривается как строительство Вавилонской башни: все большее количество товаров, механизмов, технологий сопровождается ростом власти международного финансового капитала, который эксплуатирует всю Землю и стирает с ее лица народ за народом. Происходит разрушение «органических стилей жизни» крестьян и ремесленников, затем национальных государств. Индивид считает себя все более независимым, но в действительности он делается сытым рабом, поскольку он сводится к двум ролям - пассивного потребителя и производительного «винтика» в гигантской машине. Труд утрачивает для человека всякий смысл, поскольку специализация разлагает сложные виды труда на элементарные, заменяет осмысленный труд частными операциями. Даже умственный труд механизмуется и становится частичным. Уничтожение природы, разложение и порча культуры, примитивизация форм жизни, становящихся тождественными по всему миру, - таков итог «капиталистической рационализации». Зомбарт и ранее отвергал идею саморегулирующегося рыночного хозяйства. Учитывая опыт мирового экономического кризиса 1929 г., он приходит к мысли о том, что эпоха либерального капитализма завершилась: цивилизация «золотого стандарта» рухнула, каждая страна должна опираться на собственные ресурсы, а это предполагает государственное регулирование экономики.

«Немецкий социализм» Зомбарта означает государственное планирование без полной ликвидации частной собственности, уменьшение роли финансового капитала, поддержку мелких производителей. Экономика переходит в режим автаркии, будучи закрытой для влияния международного капитала. Государственную поддержку получают прежде всего крестьяне и ремесленники, представляющие собой «почву» немецкой национальной жизни. Любопытно то, что особое внимание Зомбарт уделяет вопросам экологии - его можно считать своеобразным предшественником

¹ Werner Sombart: Deutscher Sozialismus. - Berlin-Charlottenburg: Buchholz&Weisswange, 1934

«зеленых». Нацистов в этой работе разозлили не столько антикапиталистическая риторика и полное отсутствие «расовой доктрины», сколько резкая оценка любых агрессивных планов - Зомбарт выступает как сторонник постепенного и мирного формирования европейской конфедерации. Иначе говоря, мы имеем дело с консервативной утопией, восходящей к замкнутому государству Фихте. Еще хуже нацистами была воспринята последняя книга Зомбарта «Человек», вышедшая в 1938 г., поскольку в ней он недвусмысленно подверг критике расовую доктрину. Нападки в прессе становились все более ожесточенными, вплоть до статей, в которых писалось о «еврейском происхождении» Зомбарта. Трогать члена Прусской и Баварской Академий Наук они не собирались, но последние годы жизни Зомбарт провел в неизвестности. Он умер 18 мая 1941 г. в Берлине

Зомбарт не создал какой-либо школы, его влияние (если не брать некоторых участников «консервативной революции») было опосредованным. Было бы неверно считать его одним из основоположников современного институционализма в экономической теории. Разумеется, Зомбарта внимательно читали И. Шумпетер и К. Полани. Любому читателю «Великой трансформации» Полани бросаются в глаза параллели с трудами Зомбарта. Значительным было воздействие его трудов не на экономистов и социологов, а на историков. Французская школа «Анналов» возникла под непосредственным влиянием Зомбарта. Помимо того, что концепция капитализма у Броделя непосредственно связана с «Современным капитализмом» Зомбарта, другой основоположник школы -Л. Февр развил историко-психологические идеи Зомбарта до теории «ментальностей». Хотя близкий этой французской школе немецкий социолог Н. Элиас лишь пару раз ссылаясь на Зомбарта, «Процесс цивилизации» и особенно «Придворное общество» Элиаса развивают те мысли, которые были изложены Зомбартом в работах «Роскошь и капитализм» и «Война и капитализм».

В конечном счете сегодняшнего читателя не так уж интересуют все эти «влияния» - любой мыслитель, будь он даже в высшей степени оригинальным, испытывал чье-нибудь влияние, но только эпигоны и начетчики держатся буквы и желают просто пересказывать мысли своих учителей. Никто не заставляет нас почитать Зомбарта, который был и не самым глубоким теоретиком, и

немецким националистом, но читать его до сих пор полезно - особенно в тех странах, которые испытали на себе все «прелести» государственного социализма, а теперь с немалыми трудностями возвращаются к рыночной экономике. Переживая заново эпоху первоначального накопления капитала, мы видим перед собой те же типы авантюристов и стяжателей, постепенно превращающихся в рациональных собственников и «частичных людей» капиталистической экономики.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ Л. ШТРАУСА

Лео Штраус родился в Германии, в Кирххайне (ныне земля Гессен), 20 сентября 1899 г., умер 18 октября 1973 г. в Аннаполисе (США). Он принадлежал к поколению тех, кто со школьной скамьи сразу отправился на фронт Первой мировой войны. После войны он получил философское образование в Гамбурге (под руководством Кассирера стал доктором философии в 1921 г.). В 1920-е гг. Штраус начинает свою научную деятельность как историк философии, причем первоначально он занимается почти исключительно историей средневековой иудейской философии. Затем круг тем расширяется, в 1930 г. выходит книга «Критика религии Спинозой»¹. От онтологии и религии Штраус переходит к темам политической философии, с которыми будет связано все его дальнейшее творчество.

Штраус покинул Германию еще до прихода к власти нацистов - в 1932 г. он получил стипендию фонда Рокфеллера для подготовки работы по политической философии Т. Гоббса. Рекомендацию ему дал не только Э. Кассирер, но и К. Шмитт, несмотря на то, что ранее Штраус написал резко критическую рецензию на его работу «Понятие политического». Переписка между ними прервалась после того, как Шмитт вступил в НСДАП и стал одним из главных юристов «Третьего Рейха». Штраус жил в основном в Лондоне, хотя немалую часть времени проводил в Париже, где завязал дружеские отношения с русским эмигрантом А.В. Кожевниковым: через несколько лет Кожевников начнет читать свой знаменитый курс лекций о гегелевской «Феноменологии духа» в

¹ *Strauss L. Die Religionskritik Spinozas. - Berlin, 1930.*

Практической школе высших исследований и со временем станет известен как французский философ Александр Кожев.

В 1938 г. Штраус перебрался в США, получив место в New School for Social Research: здесь работали многие известные эмигранты из Германии, Австрии, а позже и из Франции. С 1949 г. он без малого два десятка лет был профессором в Чикагском университете. Выйдя на пенсию, Штраус продолжал преподавать в Клермонте (Калифорния) и в Аннаполисе, в колледже св. Иоанна. С 1944 г. Штраус стал американским гражданином, прожив, таким образом, в США полжизни; его основные сочинения были написаны по-английски, оказав значительное влияние именно на американскую политическую мысль. Видимо, поэтому отечественному читателю его имя известно более в английской транскрипции - «Страус». Тем не менее он был выходцем из Германии, и мы именуем его Штраусом: ведь не пишут же в аналогичном случае вместо Маркузе что-нибудь вроде «Мэкьюз».

Наряду с книгами и статьями по истории политической мысли (о Сократе, Платоне, Лукреции, Маймониде, Аль-Фараби, Марсилие Падуанском, Гоббсе, Макиавелли, Спинозе и др.), Штраус написал ряд теоретических и публицистических работ, которые принесли ему известность как одному из наиболее последовательных консервативных критиков современности. В политической теории эта консервативная позиция заключалась в возвращении к образцам классической политической философии и в критике «политической науки», господствовавшей в американских университетах.

В классической политической теории, начинающейся с трудов Платона и Аристотеля, главным остается вопрос о лучшей жизни, об общем благе и справедливости. Политика неразрывно связана с этикой, практика понимается не как совокупность технических умений, но как взаимодействие между людьми. Законы этики или права отличаются от законов природы: камень падает в силу притяжения в любых обстоятельствах, исполнение нравственного закона или правового установления зависит от воли человека. Поэтому классическая политическая теория не объясняет действия людей какими-то универсальными законами, вроде законов математики или физики; ее задача состоит в том, чтобы с помощью разума найти наилучшие формы человеческого сосущество-

ования. Консервативная политическая теория в наибольшей мере сохранила связь с классической философией, которая вначале имела дело с полисом, потом - с национальным государством, а не с «законами истории», которые чуть ли не сами собой, без участия людей, ведут человечество «по пути прогресса». Для консерватора всякое политическое действие проистекает из желания добра или зла - потому оно всегда связано с вопросом о благе. Будучи общественными существами, мы вынуждены действовать и общаться с другими, а это толкает нас к познанию того, что является благом для индивида и для общества.

Из подобного стремления рождается политическая философия, которая не тождественна политической мысли вообще. Штраус однажды заметил относительно политики: поскольку в ней чисто административные решения составляют более 99 процентов, то уже поэтому она скучна не только для древнего мудреца, но и для наделенного интеллектом современника; к тому же в ней много ребячества, пустословия умственно незрелых людей¹. Иными словами, если отбросить важнейший вопрос о благе, о добродетели, то политика делается детской игрой, правда, игрой слишком часто аморальной и кровавой.

Философия есть стремление заменить мнение знанием. Она не является идеологией, поскольку не придерживается определенного социально-политического порядка, ее интересует прежде всего истина. Отличается она и от политической теологии (как знание человеческое, а не богооткровенное), и от «политической науки». Попытки замены политической философии экономикой, социологией, социальной психологией, господство позитивизма, провозглашение политической науки «этически нейтральной» имеют своим результатом не «объективность», но безразличие к ценностям, а оно ведет к нигилизму. Итак, для философа и ученого высшую ценность составляет истина, но сама наука ничего об этой ценности не говорит: физика ведь не утверждает, что сама она - благо. Не годятся и ссылки на «полезность». Во-первых, утили-

Strauss L. Thucydides: The Meaning of Political History // The Rebirth of Classical Political Rationalism. An Introduction to the Thought of Leo Strauss. Essays and Lectures by Leo Strauss, Selected and Introduced by Thomas L. Pangle. - Chicago and London: Univ. of Chicago Pr., 1989. - P. 74.

гарную ценность нельзя сделать тождественной ценности истины. Во-вторых, «полезным» знание бывает и для осуществления явного зла. Без демократии развитие политической науки не было бы возможным, но сама демократия есть ценность вне политической науки. В отличие от природных процессов, социальные явления не лежат «по ту сторону добра и зла», но оцениваются нами - оценочен уже сам язык описания (скажем, «демократичный» и «авторитарный» типы личности). Изгоняемые позитивистами в дверь, ценности возвращаются через окно, протаскиваются тайком, только высшими ценностями оказываются при этом хитрость и сила. «Освобождая» факты от ценностей, позитивисты прокладывают путь релятивизму в морали и политике. Наука, которая с легкостью забывает о различии между людьми и скотами, очень скоро становится служанкой утративших человеческий облик хищников. Такая наука, служащая фундаментом для всякого рода «технологий» в целях обработки общественного мнения, мостит дорогу тирании.

Классическая политическая философия возникает вместе с кризисом традиции, а потому ориентирующийся на нее консерватизм не является традиционализмом или просто «реакцией» на рационализм Нового времени и Французскую революцию, как его чаще всего представляют либералы и социалисты. Взгляд на политику у такого философа тот же, что у просвещенного гражданина и государственного деятеля, но только видит философ в этой перспективе дальше. Однако смотрит он не со стороны, не как индифферентный наблюдатель, но критически оценивая существующий политический порядок. Он ищет лучший политический строй, а потому перед ним встает вопрос о справедливости, благой жизни индивида, которая невозможна в дурном обществе. Социальная жизнь всегда упорядочена, проблема же заключается в том, кто и как ее упорядочивает. Поэтому неизбежен выбор между политическими формами правления, каждая из которых выступает с притязаниями, выходящими за пределы данного конкретного государства. Хороший гражданин гитлеровской Германии вряд ли стал бы таковым при каком-либо другом режиме. Всякое политическое действие осуществляется из желания добра или зла, и, стало быть, оно всегда связано с вопросом о благе. Поэтому «любое политическое действие отсылает нас к познанию добра - хорошей

жизни или хорошего общества»¹. Представитель классической политической философии ищет лучший из возможных политических режимов - *politeia*; он видит в каждом политическом образовании специфический образ жизни, стиль жизни - и оценивает, какой из них лучший.

«Классики» чаще всего не были сторонниками демократии. Их интересовала добродетель, а она, в свою очередь, воспитывается, зависит от традиции. Бедняки или рабы не получали воспитания, необходимого для формирования добродетельного гражданина. Это определялось имевшейся в то время «экономикой нехватки» - идеал же всеобщего образования и всеобщей демократии может возникнуть только вместе с переходом к «экономике изобилия». От классиков нас отличает оценка технологии (хотя никто еще не опроверг их предсказания, согласно которому выход техники за пределы морального и политического контроля ведет к катастрофе или к бесчеловечности). К тому же современная демократия не решила проблемы всеобщего образования. Во-первых, в образовании почти отсутствует элемент воспитания (предлагаются знания и профессиональная подготовка), во-вторых, там, где этот элемент наличествует, воспитывается в лучшем случае «хороший парень», «спортсмен», да еще и конформист. Гражданской добродетели демократическая школа не учит. Да и видит демократия человека «снизу», сквозь призму современной науки, редуцируя его до «силы», низвергая то «аристократическое», что было идеалом древних республик.

Между представителями классической политической философии есть согласие относительно наилучшего режима: таковым считается аристократическая республика или смешанный режим, полития, поскольку в них имеются самые подходящие условия для реализации добродетели. Демократия есть власть большинства; образованные - всегда в меньшинстве, а потому демократия таит в себе угрозу захвата власти самыми темными. Парламентская демократия как политический режим предпочтительна в сравнении с другими современными формами правления, ибо, по мнению Штрауса, в ней сохраняется возможность «универсальной аристократии» - вот только путь к ней долог и сложен. Она видится

¹ *Strauss L. What is political philosophy?* - N.Y.: Free Pr., 1959. - P. 10.

идеалом, но сегодня мы имеем дело с массовой демократией и массовой культурой, беспощадным критиком которой и был Штраус. Пусть не «солью земли», но «солью» демократии оказывается тот, кто не читает ничего, кроме страницы о спорте в третьеразрядной газете и комиксов. «Массовая культура - это культура, которую можно обрести при самых ничтожных способностях, без всяких интеллектуальных и моральных усилий, по самой низкой цене»¹.

Массовой культуре противостоит образование в классическом духе, представляющее собой попытку основать аристократию в рамках демократического массового общества. Такое образование, традиционно именуемое *liberal education*, хранит память о величии человека, знакомит с мыслями великих умов прошлого, что соответственно учит скромности, освобождает от вульгарности и легковерия, позволяет видеть дешевые трюки современных интеллектуалов. Его целью было и остается воспитание джентльмена. Штраус ссылаясь не только на образование свободного гражданина в афинском полисе, но и на британскую традицию: не все могут получить образование и воспитание, но на того, кто его получает, возлагается ответственность - он должен служить отечеству. Отсюда оценка Штраусом современных политических и исторических теорий, выносимая вполне в духе античных философов или британских тори (как писал лорд Болингброк: «Любые умственные занятия, не ведущие прямо или косвенно к тому, чтобы сделать нас лучшими людьми и гражданами, - это, в лучшем случае, лишь лицемерная и хитроумная разновидность безделья... и знание, получаемое нами таким путем, есть не что иное, как похвальный вид невежества»²).

Такого рода взгляды навлекли на Штрауса обвинения не только в «антидемократизме», но даже в «антиамериканизме». «Высший человек» для него - это добродетельный гражданин полиса (а в современных условиях - национального государства). Но речь не идет о местечковом национализме, поскольку нации принадлежат единой западной цивилизации и разделяют основополагающие ценности. Для Штрауса ядро западной цивилизации со-

¹ *Strauss L. Liberalism Ancient and Modern.* - P. 5.

² *Боллингброк. Письма об изучении и пользе истории.* - М.: Наука, 1978. - С. 11.

ставляют Библия и греческая философия, между которыми есть изначальное противоречие; нервом западной интеллектуальной истории был «конфликт между библейским и философским понятием благой жизни»; этот конфликт - источник необычайной витальности западного мира. Угрозу для Запада представляют не только тиранические режимы вовне, но и нигилизм внутри, отрицание основополагающих идеалов и ценностей.

В 1960-е гг., когда казалось, что Запад отстывает, Штраус писал: «В каком бы упадке ни была сила Запада, сколь бы велика ни была для него опасность, упадок, угроза поражения или даже уничтожения Запада еще не означают со всей неизбежностью, что он находится в кризисе: Запад может уйти со сцены с честью, будучи уверен в своем предназначении. Кризис Запада заключается в утрате им такой уверенности. Некогда Запад был убежден в своем предназначении, которое могло бы объединить всех людей, а потому у него имелось ясное видение будущего как будущее всего человечества. У нас уже нет такой убежденности и ясности. Иные из нас отчаиваются относительно будущего, и этим отчаянием объясняются многие формы нынешней деградации»². Необходимость универсальной цели означает и необходимость возврата к классической политической философии, утверждающей непреходящие ценности: ее не заменят ни идеология, ни те социальные науки, которые эти ценности отрицают.

Итак, сама дифференциация «политического» и не относящегося к этой сфере зависит от отнесения к ценности. Позитивизм ведет не столько к нигилизму, сколько к конформизму и филистерству, ибо чаще всего он выступает как «алиби безмыслию и вульгарности». Отстаивая обычно демократию, позитивисты игнорируют причины, по которым ее следует предпочесть тирании. Следствием позитивизма стал историцизм, получивший развитие уже в рамках немецкого идеализма, а затем радикализированный Ницше, М. Вебером и, главным образом, Хайдеггером³. Истори-

¹ *Strauss L. The Rebirth...* - P. 270.

² *Strauss L. The City and the Man.* - Chicago: R. McNally and Company, 1964. - P. 3.

Сходным образом на связь позитивизма с его «свободными от оценок» фактами и историцистского релятивизма указывали и другие консерваторы. См., например: *Хайек Ф.А.* (статья «Факты общественных наук»,

цист отвергает все постоянное в человеческой природе и в истории. «Типичный для XX в. историцизм требует, чтобы каждое поколение заново перетолковывало прошлое на основе своего опыта, глядя в собственное будущее»¹.

Историцизм - в отличие от немецкого идеализма и романтизма, породивших его, - является уже не созерцательным, но активистским, требующим пересмотра всего прошлого, которое ставится в зависимость от будущего. Но сам историцизм принадлежит истории, и его требования можно приложить к нему самому; в таком случае он выражает лишь умонастроения одного-двух поколений и в свое время сменится позицией, которая уже не будет историцистской. При последовательном проведении историцистского взгляда мы придем к нигилизму, оборачивающемуся политическим конформизмом. Именно это случилось в 1933 г. с двумя высоко ценимыми Штраусом немецкими мыслителями - Хайдеггером и Шмиттом. Разумеется, Штраус не занимался обычной для многих «левых» критиков Хайдеггера и Шмитта «игрой на понижение»; он прекрасно знал, что оба они, как и многие другие представители «консервативной революции», изначально не были даже «попутчиками» нацистов. Однако историцистский релятивизм привел их к элиминации всякой устойчивой этической системы координат. Можно сказать, что полемика с Кожевом была для Штрауса прямым продолжением того внутреннего спора со Шмиттом и Хайдеггером, который начался еще во времена Веймарской республики.

В этом смысле важны лекции Штрауса, текст которых был недавно опубликован под заглавием «Введение в экзистенциализм Хайдеггера», где он оценивает Хайдеггера как величайшего мыслителя XX в.² Впервые Штраус слушал лекции Хайдеггера еще в 1922 г. и был поражен их глубиной; он внимательно следил за спором Хайдеггера с Кассирером в Давосе и пришел к выводу, что неокантианство и феноменология Гуссерля по существу перечер-

1942) Индивидуализм и экономический порядок. - М.: Изограф, 2000. - С. 87-88.

¹ *Strauss L. What is political philosophy?* - N.Y.: Free Pr., 1959. - P. 59.

² См.: *Strauss L. An Introduction to Heideggerian Existentialism* // *The Rebirth...*

кивались Хайдеггером. Что же касается себя самого, то Штраус готов признать, что как философ он просто несопоставим с Хайдеггером, поскольку тот принадлежит к небольшому числу мыслителей европейской истории, роль которых можно считать эпохальной: в Германии философа такого уровня не было со времен Гегеля, но тогда имелись фигуры почти равные ему по значимости, а Хайдеггер безусловно возвышается над всеми современными философами.

Онтология Хайдеггера означает подрыв греческой онтологии и базирующейся на ней технологии. Собственно говоря, Штраус вовсе не сводит философию Хайдеггера к экзистенциализму, который видится ему упрощенной и даже опошленной трактовкой «Бытия и времени», поскольку выступает как релятивизм и нигилизм. Хайдеггер предстает как мыслитель, ставящий под сомнение основополагающие для всей западной традиции идеи и прокладывающий путь к будущему синтезу с восточными учениями. Вместе с тем именно греческая метафизика и библейская религия отстаиваются Штраусом на протяжении всей его деятельности, а в онтологии Хайдеггера он видит угрозу всякой этике. Политический выбор может оцениваться как разумный только при соотношении его с моральными ценностями, а они, в свою очередь, обосновываются порядком сущего. Историзм выступает у Штрауса как итог той эволюции, которая началась вместе с Новым временем.

Составной частью любой консервативной теории является критика Просвещения. Уже в ранних работах Штрауса рационализму Нового времени противопоставляется рационализм греческой и средневековой философии. Рационализм Просвещения представляет собой преобразованный эпикуреизм, научившийся не скрываться в «саду», но вести борьбу с религией за посюстороннее счастье¹. Цель Просвещения заключалась в ограничении или отрицании сверхъестественного ради естественного, но в итоге «естественным» оказывалось то, что в античной и средневеко-

¹ *Strauss L. Philosophy and Law. Contributions to the Understanding of Maimonides and his Predecessors. - State Univ. of New York Pr., 1995. - P. 35 (работа написана в 1931-1932 гг., первая публикация на немецком - Берлин, 1935 г.).*

вой философии относилось к крайним и нетипичным формам сверхъестественного; полемика против возможности чудес обернулась обоснованием «идеализма». Поэтому иррационализм - это просто одна из разновидностей рационализма Нового времени, «который уже сам по себе достаточно "иррационалистичен"»¹. Просвещение вело борьбу с религиозными традициями («предрассудками»), ссылаясь на естествознание. Но на естественные науки оно могло ссылаться до тех пор, пока оно не расставалось с традиционным понятием истины. Постепенно выяснилось, что «свободная от ценностей» наука ничего не говорит нам о каком бы то ни было общественном идеале - из сущего не вывести должного. Свобода совести, политические свободы, утверждение автономности человека - все это могло служить идеалом Просвещения только во время борьбы с традицией, «пока бунт раскрепощенных Просвещением сил не обратился на своего освободителя»². Позитивизм и историцизм суть законные наследники Просвещения, отвергающие и его веру в научный разум, и упования на бесконечный и неостановимый прогресс.

Особое место в историко-философских исследованиях Штрауса отводится двум «отцам» современной политической философии - Гоббсу и Макиавелли.

С Макиавелли начинается разрыв с классической политической мыслью, он - первый представитель Просвещения. В книге Штрауса о Макиавелли можно найти самые уничижительные эпитеты в его адрес: «учитель зла», автор «максим публичного и частного гангстеризма» - это еще не самые резкие характеристики. Но наряду с подобными обвинениями проводится тщательный анализ, в частности, признается, что Макиавелли был республиканцем, и на него ориентируется позднейший республиканизм; если учение Макиавелли и является дьявольским, то сам дьявол все же относится к рангу падших ангелов.

¹ *Strauss L. Philosophy and Law. - P. 135*

² *Ibid.* - P. 35. Можно сравнить эту трактовку Просвещения с воззрениями целого ряда консервативных мыслителей - разумеется, не Де Местра и Бональда, но современных консерваторов, вроде А. Гелена, сходным образом писавшего о самоотрицании Просвещения: «Век Просвещения завершен, его предпосылки мертвы, его последствия продолжают действовать».

После долгого обсуждения безверия итальянского мыслителя Штраус вдруг замечает, что полемика Макиавелли - как, впрочем, и Гоббса - с христианством была вызвана тем, что Гоббс называет «царством тьмы»; при этом Штраус добавляет, что условия изменятся только после Французской революции¹. Основной тезис автора таков: новая политическая наука начинается с понижения моральных стандартов, человек для нее по природе своей зол, он не стремится к добродетели, а преследует свои эгоистические интересы. Нельзя сказать, что Макиавелли вообще лишен морали; он был патриотом Италии и хотел ее объединения. Но цель у него оправдывает средства, а сам патриотизм выступает как коллективный эгоизм одной нации. Макиавелли, подобно классикам, желает справедливого государства, но для того, чтобы идеализированная им римская республика возникла, Ромул должен был убить Рема. Мораль, таким образом, появляется из аморального, справедливость - из несправедливости. Себялюбие есть основа общества, и люди стали совместно существовать из себялюбия, поскольку не могли выжить без общества. Для Макиавелли наилучшее средство устранения несправедливости - сделать ее невыгодной. Политика целиком отделяется от морали. Более того, завышенность моральных требований, с точки зрения Макиавелли, ведет к религиозному ханжеству, нетерпимости, к преследованиям и к кровопролитию.

Эти идеи получили развитие у Гоббса, который объявил влечение к власти исходным для индивида. Правда, Гоббс в духе классиков отвергает тиранию и отстаивает легитимную власть монарха, направленную на общее благо, тогда как Макиавелли первым уравнивал тиранию и монархию. Отсюда у Штрауса следует характерное сравнение Гоббса с Шерлоком Холмсом, а Макиавелли с профессором Мориарти. Центральный тезис книги Штрауса о Гоббсе состоит в утверждении, что тот пришел к основным своим

¹ См.: *Strauss L. Thoughts on Machiavelli*. - Glencoe, Illinois: The Free pr., 1958. - P. 231. На неоднозначность суждений Штрауса о Макиавелли указывали многие интерпретаторы. См., например: *Lefort C. Le travail de l'oeuvre Machiavel*. -P.: Gallimard, 1986 (1972), ch. VIII. Двусмысленность оценок дала повод иным американским противникам Штрауса из левых либералов даже обвинять его в «макиавеллизме».

политическим теориям еще до того, как познакомился с математикой (начал читать Эвклида в сорок один год), то есть физико-математические теории служили Гоббсу лишь обоснованием уже созданного им, начиная со времени его работы над переводом Фукидида. Не натурализм, но гуманистическая моральная доктрина лежит в основе «Левиафана». В Гоббсе Штраус видит предтечу не тоталитаризма, а либерализма: эта трактовка была прямо направлена против К. Шмитта¹.

Просвещение лишь упростило и вульгаризировало программу новой «политической науки». Начало этому положил Локк, давший прозаическую версию того же себялюбия: не власть, не слава, но самосохранение и стремление к собственности лежат в основании общества. Эта теория получила широчайшее распространение, сделавшись апологией приобретательства, - «мы имеем здесь совершенно эгоистическую страсть, удовлетворение которой не требует какого бы то ни было кровопролития, а следствием ее является улучшение судьбы всех»². Экономизм - это макиавеллизм наших дней. Немецкий идеализм вводит историческое измерение: идеальный порядок возникает в ходе истории из слепых страстей. «Безумства коммунизма уже содержатся в безумствах Гегеля и даже Канта»³.

Антропоцентризм издавна именуется в Европе «гуманизмом». Продолжая традицию немецких консерваторов, Штраус подвергает яростной критике тот вариант гуманизма («гуманитаризма»), который сводится к релятивизму. Все позиции тут одинаково истинны и одинаково ложны (истинны для того, кто их разделяет, то есть «изнутри»), и ложны для сторонников других, то

¹ В предисловии к оригинальному немецкому тексту, который был опубликован много позднее, Штраус отмечает, что интерес к Гоббсу был пробужден именно Шмиттом - в английском издании 1936 г. всякие упоминания о Шмитте по известным причинам отсутствуют. При рассмотрении Гоббса и Спинозы главной темой для Штрауса, как и в «политической теологии» Шмитта, становится соотношение теологического и политического. В рецензии на «Понятие политического» Штраус упрекал Шмитта за его истолкование Гоббса с сознательным нацеливанием предлиберальных мыслей последнего против либерализма.

² *Strauss L. What is political philosophy?* - N.Y.: Free Pr., 1959. - P. 49.

³ *Ibid.* - P. 54.

есть «извне»). Критиковать их нельзя, но можно «понять»: у меня своя перспектива, другие имеют право на собственные; то же относится и к обществу. Такое «мирное сосуществование» кажется симпатичным и щедрым. Но тогда разница между цивилизацией и каннибализмом есть дело вкуса и «ценностей» - мы просто находимся в иной исторической ситуации. Однако исторические ситуации меняются, и никак нельзя исключить того, что каннибализм в иных условиях вновь делается «продуктивным».

Сторонник такого релятивизма, вроде Рорти, может заявить, что он избирает и отстаивает ценности цивилизации - таков его нравственный выбор; но его позиция может быть обозначена просто как «пропаганда», поскольку основания для выбора остаются произвольными, а пропаганда в пользу каннибализма (национал-социализма, сталинизма, какой-нибудь тоталитарной секты) может оказаться сильнее. Произвол в области ценностей делает силу единственным критерием отбора. Ведь речь всякий раз идет о ценностях того или иного племени, той или иной «культуры» или «цивилизации». Эти ценности верны, если за ними стоят военные победы или экономическое господство: историю побежденных пишут победители. Тезисы «гуманистов» превращаются в собственную противоположность, а их философия становится обоснованием права сильного. Но можем ли мы вообще говорить о философии, если она выступает как идейное «выражение» одной из цивилизаций? Для Штрауса «философия в строгом смысле слова есть усилие человека к освобождению от частных предпосылок любой частной цивилизации или культуры»¹.

Штраус также подвергает критике познание посредством эмпатии или симпатии. Если последовательно проводить точку зрения романтического «понимания», то оказывается, что она сводится к игре с различными системами идей и ценностей, тогда как собственная позиция в такой игре растворяется. К тому же в прошлом преобладали общества, в которых, безусловно, господствовала одна система идей и верований, принимаемая за абсолютную

¹ *Strauss L. Thucydides: The Meaning of Political History // The Rebirth of Classical Political Rationalism. An Introduction to the Thought of Leo Strauss. Essays and Lectures by Leo Strauss, Selected and Introduced by Thomas L. Pangle. - Chicago and London: Univ. of Chicago Pr., 1989. - P. 75.*

истину; такие общества существуют и сегодня, не говоря уже об индивидах с жесткой системой координат. Сегодняшние релятивисты с легкостью признают право какого-нибудь первобытного племени на такую систему идей, но обрушиваются на тех, кто продолжает считать Библию богооткровенной книгой или является платоником в философии. Любого носителя какой-то последовательной позиции они записывают в «фундаменталисты», «реакционеры», называют его точку зрения «провинциальной». Впрочем фундаменталисты оказываются в хорошей компании вместе с величайшими мыслителями прошлого. «Ведь единственные не узкие и не провинциальные люди - западные релятивисты и их вестернизированные последователи в других культурах». Они с возмущением и презрением отвергают великую традицию западной мысли, утверждающую возможность рациональной и универсальной этики, а все их «симпатическое понимание» обращено к далеким племенам и культурам (сегодня к ним добавились сексуальные и прочие «меньшинства»), хотя представители самих этих племен держатся абсолютных ценностей и знать ничего не знают о подобном «понимании».

Штраус прекрасно понимает угрозу фундаментализма и «абсолютизма», враждебных свободному поиску истины. Но релятивисты ведут к хаосу, поскольку разрушают сами основания разумного сосуществования людей, поскольку люди и общества, проявляющие насилие и ведущие войны на уничтожение в таком случае столь же правы, сколь и те, кто стремится к миру и справедливости. Поэтому наука, долгое время считавшаяся бастионом цивилизации против варварства, все чаще оборачивается инструментом варваризации. В философии терпимость была идеалом, но терпимость ко всему приводит к утрате всех норм и ценностей. «К тому же абсолютная терпимость невозможна, и, будучи провозглашенной, она оборачивается дикой ненавистью к тем, кто ясно и последовательно говорит о наличии неизменных стандартов в природе человека и в природе вещей».

¹ *Strauss L. Social Science and Humanism // The Rebirth of Classical Political Rationalism. - P. 12.*

² *Strauss L. Liberalism Ancient and Modern. - N.Y. - London: Basic Books, 1968.-P. 63.*

В области политической философии такого сорта релятивизм характерен прежде всего для современного либерализма. Штраус, в частности, подверг критике И. Берлина, статья которого «Два понятия свободы» и доныне считается классическим текстом для либералов. Но именно сведение Берлиным политических свобод к «свободам от» делает из этой статьи «документ, свидетельствующий о кризисе либерализма, произошедшего оттого, что либерализм утратил свои абсолютные основания и попытался стать целиком и полностью релятивистским»¹. Штраус готов даже признать правомерность критики либерального идеала «свободы от оценочных суждений», проводившейся марксистом Лукачем, величайшим сторонником которого был М. Вебер. Но из этого не следует правота собственных утверждений марксистов, которые непрестанно ссылались на «объективные законы истории». В действительности их позиция оказывается не менее релятивистской: марксисты даже собственную доктрину считают порождением определенной исторической ситуации, что же должно произойти с истиной их теории при значительных общественных изменениях? Если оставить игру в гегелевские термины («снятие», переход «в-себе-бытия» в «для-себя-бытие» или пресловутую «диалектику относительной и абсолютной истины»), то марксизм оказывается одной из разновидностей историцизма.

Прогрессист смотрит на прошлое, как на мир варварства и предрассудков, животной грубости и нищеты. Он не ощущает того, что вместе с историей было утеряно нечто важное; если он от чего-то и освободился, то от одних лишь цепей. Он уверен в превосходстве настоящего над прошлым и надеется на дальнейший бесконечный прогресс. «То, что в иные времена называлось мятежом, он называет революцией или освобождением»². Взгляд на прошлое у него часто презрительный или враждебный, ибо от прошлого достались те «предрассудки», с которыми он ведет борьбу. Вывод из прогрессистских теорий лучше всего представлен лозунгом большевиков двадцатого года: «Железной рукой загоним человечество к счастью!». Правда, из серьезной литературы слово «прогресс» почти исчезло; им продолжают пользоваться по-

¹ Strauss L. The Rebirth... - P. 17.

² Strauss L. Progress or Return // The Rebirth... - P. 230.

литики, тогда как ученые говорят об «изменениях», «эволюции», «развитии».

Сегодня ученые пишут исследования о «вере в прогресс», и связано это именно с тем, что в веру закрались сомнения. Прогресс есть движение от несовершенного к совершенному, от низшего к высшему. В античности признавалась возможность беспредельного совершенствования наук и искусств, но никак не бесконечного социального прогресса. Предпосылкой веры в него является забвение вечности. Новое время провело параллель между прогрессом науки и общества в целом: наука, техника, индустрия делают человека властелином природы и собственной судьбы. Игнорируется лишь один вопрос: стал ли человек лучше в результате всех этих завоеваний? Современный человек заменил оппозицию «добро/зло» совсем иной - «прогрессивный/реакционный», но именно поэтому он не ведает, что творит, и оказывается «слепым гигантом». В стремлении построить новую цивилизацию, превосходящую все предшествующие, этот гигант в действительности разрушает наследие самой западной цивилизации.

Спор с позитивизмом и историцизмом ведется Штраусом и в работе «О тирании», причем не только в заключительном разделе, где он отвечает на критику Кожева. Сам способ интерпретации диалога Ксенофонта принципиально отличается от большинства трудов такого рода, полных историко-филологической учености, но игнорирующих самое главное - аргументы «за» и «против», выдвигавшиеся древними мыслителями (в данном случае относительно тирании). Штраус негативно относился к романтической герменевтике с ее идеей понять мыслителя прошлого «лучше, чем тот сам себя понимал». Сегодня мы сталкиваемся либо с подгонкой этих мыслителей под схемы современной философии с претензией на наше превосходство и на лучшее, чем у древних, знание. Тогда прошлое само по себе исчезает, поскольку оно, в лучшем случае, осуществило свою задачу - подготовку настоящего. Казалось бы, представители историцизма, повторяющие вслед за Ранке «wie es eigentlich gewesen ist» («как это действительно было»), говорящие, что каждая культура занимала свое место под солнцем, держатся противоположной позиции. Но Штраус, подобно своему другу Х.-Г. Гадамеру, считает историцизм позицией ничуть не менее субъективистской: ни одна из позиций и точек зре-

ния не может притязать на истинность, так как все они исторически изменчивы. Философы прошлого вписываются в самые различные культурно-исторические контексты, но у них отнимается самое главное - стремление к постижению истины. В таком случае историк философии перестает быть философом, а все сказанное им об этих «контекстах» утрачивает всякий смысл¹. Интерес в прошедшем представляют универсальные проблемы и попытки их решения. К проблемам такого рода относится выбор между имеющимися политическими формами правления. Если современная историческая и политическая наука видит лишь различия между греческой тиранией и нынешними тоталитарными режимами, не замечая их сущностного родства, то она должна быть заменена классической политической философией.

Книга «О тирании» впервые была издана в 1948 г., в США. Спустя два года, во Франции появился ее перевод со статьей Кожева и ответом Штрауса. Такое содержание книги сохранялось почти во всех ее переизданиях (как на английском, так и на французском языке). Лишь в 1990-х гг. в США вышел ее новый вариант, включающий - помимо названных текстов - обширную переписку этих двух мыслителей, которую в предлагаемом русском издании решено было опустить по двум причинам. Во-первых, возникли немалые трудности в связи с авторскими правами на письма Штрауса и, во-вторых, только несколько писем из этой более чем тридцатилетней переписки имеют прямое отношение к основной теме книги.

Что касается статьи А. Кожева «Тирания и мудрость», то вначале она была опубликована в журнале «Critique» под названием «Политическое действие философов» как рецензия на книгу Штрауса и включала в себя несколько абзацев, в которых коротко говорилось о жанре и содержании сочинения. Историю появления статьи можно проследить по письмам Кожева и Штрауса. Она такова: Штраус переслал в Париж Кожеву свою книгу с просьбой написать на нее рецензию для журнала «Critique». Дав согласие, Кожев долго не мог закончить работу: он обращался к ней в промежутках между длительными командировками, а потому был недоволен «клочковатостью» текста, который намеревался перепис-

¹ См.: *Strauss L. How to Begin to Study Medieval Philosophy // The Rebirth...*

сать. Однако иные заботы не позволяли ему это сделать. Журнал, испытывая финансовые затруднения, не торопится с публикацией рецензии, и Кожев предлагает ее в другое периодическое издание, «Temps modernes». Но тут в дело вмешивается известный философ и ученик Кожева, М. Мерло-Понти: он отклоняет рецензию, ссылаясь на слишком большой ее объем, хотя, по оценке Кожева, причины отказа были идеологического порядка. В конце концов, в 1950 г., рецензия все же вышла в свет - как уже было отмечено - в журнале «Critique». В это же время полным ходом шла работа над французским переводом книги Штрауса: Кожев предложил издательству «Gallimard» издать ее перевод вместе со своим откликом, а Штраус, одобрив этот план, быстро написал свой ответ на замечания Кожева¹.

При чтении статьи Кожева следует иметь в виду его философию истории, суть которой излагается им в курсе лекций «Введение в прочтение Гегеля». Этот курс читался в Высшей школе практических исследований в 1934-1939 гг. и был опубликован в 1947 г. одним из слушателей, известным французским писателем, Р. Кено. Толкования Кожева «Феноменологии духа» Гегеля привели к тому, что во французскую философию вошли темы «конца истории» и «конца человека». Если мы возьмем не всю систему Гегеля, а только его «Феноменологию духа», то увидим, что диалектика господина и раба занимает в ней сравнительно скромное место, а над сферой объективного духа возвышается мир абсолютного духа. Для Кожева все сводится к миру человеческой истории, начинающейся с «борьбы за признание»: победители в ней делают господами, а побежденные, под страхом смерти, соглашаются на рабскую долю. Вся дальнейшая история - это хроника труда и борьбы; она неизбежно придет к концу вместе с полным контролем над природой и прекращением схваток за ресурсы, за жизненные шансы, за господство одних над другими. История имеет смысл только как тотальность, у которой есть начало и конец. Все абсолюты содержатся в истории и принадлежат свободному человеку, но его свобода есть свобода отрицания и самоотрицания - выбора, в том числе между жизнью и смертью, в борьбе.

¹ Подробнее о взглядах русского эмигранта Александра Владимировича Кожевникова и его споре с Лео Штраусом см.: *Руткевич А.М. А. Кожев и Л. Штраус: спор о тирании // Вопросы философии. - 1998. - № 6.*

Таким образом, начавшись с борьбы за признание, с утверждения отношения господства и рабства, история с необходимостью снимает это отношение. Господин готов мужественно умереть, доказывая этим свою свободу (то есть свою человечность), но жить как человек он не в состоянии. Раба он не воспринимает, не признает человеком. Человеческая свобода - это свобода отрицания сущего, а потому она может быть реализована в становлении, тогда как Господин самодостаточен и недвижим. В покоряющем природные процессы труде и в борьбе Раб реализует свободу и в конце концов свергает Господина. Наступает царство Гражданина, буржуазное гражданское общество, раздираемое, в свою очередь, классовыми и национальными противоречиями. «Конец истории» означает достижение такой точки, где борьба индивидов и групп, наций и империй прекратится. Он приходит вместе с полным контролем над природными явлениями. Но существо, которому уже нет нужды с кем-то воевать, конкурировать, стремиться к признанию другими, перестает быть человеком, поскольку все его желания удовлетворяются чуть ли не автоматически. Свобода рождается из нехватки и стремления, из отрицания наличного бытия, тогда как «последнему человеку» уже нечего отрицать. Поэтому «конец истории» означает и «конец человека», ибо некое самодостаточное существо будет принципиально отличаться от тех, кто жаждал, страдал и умирал в борьбе.

Эта тема присутствует и в статье «Тирания и мудрость». При чтении ее может сложиться впечатление, что Кожев оптимистически смотрит на историю и в духе коммунизма говорит о каком-то грядущем земном рае. В действительности его оценки были несколько иными и с годами они менялись. Какое-то время он видел признаки «конца истории» в социализме и в американской культуре. Прекратив борьбу, человек возвращается в «животное царство»; и советские коммунисты, и американские капиталисты стремятся к одним и тем же целям массового потребления, разница состоит в выборе средств и определяется тем, что первые бедны, а вторые богаты. Взгляд на «конец истории» был у Кожева, скорее, пессимистическим, что хорошо заметно в его рецензиях на романы Р. Кено и Ф. Саган, опубликованных в том же журнале «Critique». В одном из писем Штраусу он прямо указывает на возможность того, что «конец истории» может оказаться не «царством

Мудреца», но сообществом машиноподобных людей, именуемых им «удовлетворенными автоматами» (письмо от 19.09.1950)¹. Поэтому Штраус в своих письмах раз за разом сравнивает «универсальное и гомогенное государство» с временами «последнего человека» Ницше. Несколько оптимистичнее оценки Кожева стали в конце 1950-х гг., после поездки в Японию, где он увидел, как массовое общество может сочетаться с сохранением национальной культуры, с эстетикой свободной игры и ритуала.

В полемике со Штраусом Кожев противопоставляет «теистической» картине мира, для которой возможно чистое созерцание действительности, «атеистическую», то есть признающую только историю с ее боями. Эпикурейского «сада» не существует, а «республика писем» означает бегство от действительности. От шума и ярости мира сего мы можем бежать только в воображении. Но если философ обязан принимать участие в борьбе, то он может оказаться даже советником у тирана. Разумеется, проще всего сказать, что не всякий тиран для этого годится. Кожев не делает оговорок подобного рода, так как они уведут от принципиальной постановки вопроса. Речь ведь идет именно о тиране, а не о ком-то другом. Философы в прошлом по-разному решали этот вопрос, но сравнительно немногие делали радикальные выводы. Выбор, если не прибегать к уловкам, не так уж велик: либо уход в монастырь (или какой-нибудь «сад»), либо участие в политике, в том числе и тогда, когда у власти неизбежно оказываются тираны.

Читая Кожева, невольно вспоминаешь о «Государе» Макиавелли (в макиавеллизме Кожева обвинит и Штраус), но отличия все же понятны: Макиавелли имел в виду объединение Италии, то есть конкретную цель, сходную с теми, которые в близком духе ставил в Древнем Китае Хань Фэй-цзы (гл. 12 его трактата). У Кожева мы имеем дело с исторической закономерностью, ведущей к

¹ В том же письме Штраусу он заметил, что движение к «последнему государству» неизбежно, но каким оно будет, зависит от конкретных обстоятельств. Если западные державы останутся «националистическими», не сумеют интегрировать свои экономики и не станут проводить единую политическую линию, то победит сталинский социализм («с Лысенко и т.п.»), если же они сумеют объединиться, то «окончательное государство» будет «европейским». См.: *Strauss L. On Tyranny. Revised and Expanded Edition.* -N.Y.: Free Pr., 1963, 1991. - P. 256.

«концу истории». Со своей точки зрения, он, безусловно, отрицал бы всякое возможное сотрудничество с диктатором типа Гитлера (сам он принимал активное участие в Сопротивлении), поскольку власть самозванной «расы господ» означала для него возвращение к кровавой архаике, тупик в историческом движении, преодолевающим царство Господина. Но большинство диктаторов последних веков все же не были столь откровенны - слишком часто (велась ли речь о социальной справедливости, национальной независимости, демократии и т.п.) возвышенными целями прикрывались совсем иные мотивы.

Полемизируя со всеми теми, кто хотел бы сохранить этическую дистанцию по отношению к политике, Кожев прямо критикует основные и даже заветные мысли Штрауса. Изложение этой критики с позиций историцизма облегчает Штраусу выбор формы ответа. Правда, Кожев столь же резко критиковал некоторые крайние формы историцистского релятивизма, но логика его собственной системы все же ведет его к отрицанию неизменных этических принципов. Ведь не гоже вслед за каким-нибудь Троцким объявлять моральным то, что служит победе коммунизма, да еще в такой форме: морально то, что ведет к «концу истории», хотя при этом исчезнет и сам носитель морали - человек.

В своей статье Кожев не допускает прямых высказываний против Штрауса, который в своем ответе также предельно корректен, хотя критика ведется довольно жесткая. Впервые встретившись в Берлине в 1920-х гг., эти два мыслителя сошлись ближе - как уже говорилось - в 1930-х, в Париже, продолжая впоследствии поддерживать дружеские отношения. Они были едины и в решении некоторых частных вопросов¹, и в негативной оценке массовой культуры, равно как и в критике «интеллектуалов». Но в главном их позиции все же диаметрально противоположны. Штраус был виднейшим американским теоретиком консерватизма, одним из самых ярких критиков не только различных вариантов тотали-

¹ В своей работе о Гоббсе, написанной по-немецки, но вышедшей в Англии в 1936 г., Штраус отмечает, что влияние политической теории Гоббса на «диалектику господина и раба» в «Феноменологии духа» одинаково с ним рассматривает в Париже А. Кожевников (эта характеристика была дана до появления известного французского философа А. Кожева).

таризма, но и любого прогрессизма, будь он социал-демократическим или либеральным. Прекрасно понимая, что Кожев умело оспаривает его основные тезисы, он, тем не менее, всегда настаивал на включении его критической статьи во все последующие издания своей книги, справедливо полагая, что вести спор есть смысл только с настоящим оппонентом.

В послесловии к своей книге Штраус соглашается с Кожевом (и с Э. Фёгелином, также написавшим критическую статью) в том, что бывают эпохи, когда цезаризм неизбежен; бывают общества, которые цезаризма даже заслуживают. Как и Кожев, Штраус не утверждает, что древняя тирания или деспотия отличается от современного тоталитаризма. Это понятно всякому, кто изучал историю, но для политической философии важен вопрос о «хорошем обществе» и о добродетели, а не о том, что ассирийский или персидский царь отличался чем-то в лучшую или худшую сторону от диктаторов нашего времени. Философия должна найти аргументы в пользу того, что в любую эпоху разумный и честный человек должен быть противником тирании. Собственно говоря, именно это Штраус и делал в своем комментарии к диалогу Ксенофонта. Столкнувшись с аргументацией Кожева, «снимающей» примат этики над политикой, Штраус сначала повторяет те тезисы, которые впервые были им высказаны еще в 1932 г., в рецензии на работу К. Шмитта «Понятие политического», а потом были развиты в ряде сочинений, где он полемизировал с Хайдеггером, связывая с историцизмом и «децизионизмом» политический конформизм перед лицом надвигающейся тирании¹.

Кожева он хвалит за откровенность, но называет его позицию «более чем макиавеллической», поскольку Кожев знает, что

¹ См., например: *Strauss L. Political Philosophy. Six Essays.* - N.Y., 1975. Штраус не считал приход нацистов к власти исторически неизбежным, но с 1925 г., т.е. с момента избрания Гинденбурга президентом, стало ясно, что Веймарская республика обречена. В предисловии к трактату Спинозы Штраус писал: «Старая Германия была сильнее - сильнее волей, - чем новая Германия»; не хватало только нужного момента, и он настал через несколько лет. С республикой не обязательно должен был покончить нацизм - просто сила воли, наглость, безжалостность были сильнее, чем у всех остальных (то же самое относится к Ленину в России). См. также: *Strauss L. Liberalism Ancient and Modern.* - N.Y.-London: Basic Books, 1968. - P. 224.

речь идет именно о тиранах, отрицает всякую легитимность их власти, но дает им оправдание с точки зрения исторической необходимости, возводящей на трон цезарей. Однако разве цезари являются в качестве проводников какого бы то ни было «прогресса»? Ответ Штрауса негативен: цезаризм появляется и процветает при деградации политической жизни, он связан с коррумпированными элитами и развращенным народом, с исчезновением даже представления о добродетели. В истории не всякий Цезарь, начиная с первого носителя этого имени, действительно был тираном, но любой из них является потенциальным тираном; именно такой вывод делает доктрину Кожева, оправдывающую цезаризм историческими условиями, просто опасной.

«Кожев принадлежит к очень немногим, кто знает, что значит мыслить, и любит мыслить... Кожев - философ, а не интеллектуал»¹, - пишет Штраус, презиравший «интеллектуалов» и особенно тех из них, кто «бежал впереди прогресса». С Кожевом есть смысл всерьез спорить также потому, что он держится классических теорий, а не новомодных «идей», но он избирает ложную, гегелевскую теорию, характеризуемую им как попытка «синтеза Сократа и Макиавелли». Она не нравится Штраусу, конечно, не по той причине, которая сегодня тревожит сон иных отечественных «демократов», обнаруживших (вероятно, в результате чтения Поппера), что Гегель был чуть ли не основоположником «тоталитаризма». Штраус прекрасно знал, что Гегель, был консерватором, причем консерватором либеральным. К. Шмитт не случайно воскликнул в день прихода нацистов к власти: «Гегель умер в Германии!» Смысл этого возгласа понятен: Гегель был авторитетнейшим сторонником правового государства, которое должно стоять над всеми партиями, - как раз это и было отвергнуто нацистами. Опасность гегелевской философии Штраус видит именно в том, что Кожев считает в ней самым главным - в историзации всего сущего, в растворении бытия в становлении². Атеист Кожев не-

¹ *Strauss L. On Tyranny.* - P. 186.

² Стоит заметить, что трактовка Гегеля является односторонней как у Кожева, так и у Штрауса; по существу, ими воспроизводится спор между правыми и левыми гегельянами XIX в. В политической философии Гегель был консерватором, его философия истории содержит ряд положений, которые получили развитие сначала в младогегельянстве, а затем и в

случайно часто обращается к «истине» иудео-христианства, которую он находит в привнесении времени в бытие.

Верующий в Бога еврей Штраус действительно в каком-то смысле стоит значительно ближе к древнегреческому миру, идет ли речь о политической теории или об идеализированном антич-

марксизме. Государство у Гегеля есть духовный организм, осуществляющий нравственность; оно не противостоит индивиду как чужеродная, стесняющая или принудительная сила - тирания, «иерархия принуждения» убивает государственную жизнь вместе с нравственной добродетелью. Истинное государство пребывает в тождестве со своими гражданами: оно не над ними, но в них; единичный индивид с его особыми интересами получает полное признание, развитие и удовлетворение только в таком государстве - это соответствует классической политической философии. Правительство является для народа не внешней силой, но его собственной внутренней энергией. В совершенной государственной жизни каждый акт правительства испытывается всеми гражданами как проявление или обнаружение их собственной разумной сущности, а потому государство выступает как осуществление свободы в действительности. С классической теорией Гегеля сближает и то, что в качестве наиболее совершенного политического режима он берет конституционную монархию. То, что сам Гегель вовсе не намечал «универсального и гомогенного государства» видно хотя бы потому, что государства для него всегда связаны с тем или иным «народным духом». И. Ильин верно заметил, что Гегель «приходит к... своеобразному националистическому индивидуализму и даже атомизму» (с. 456), что он совсем не мыслил преодоления государства в некоей всеобщей «добровольности» и «сращенности», когда государство отмирает и исчезает за ненужностью, превратившись «в нечто новое и небывалое, наподобие безвластного, анархического союза, в котором властвование заменится разъясняющим преподаванием добра, мгновенно воспринимаемого и добровольно осуществляемого». (И.А. Ильин. «Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека». - СПб., 1994. - С. 445). Можно сказать, что Кожев согласен с Ильиным в оценке гегелевской философии истории в одном пункте. Ильин считает, что учение Гегеля о государстве указывает на *предел* человека, «то есть ту границу, до которой ему дано приблизиться к божественному состоянию... Быть человеком значит иметь ограниченный дух и ограниченную перспективу жизни; и человечество несет бремя этого предела так же, как индивидуальный человек. Быть человеком значит в страдании достигать и в страдании не достигнуть» (с. 468). Атеист Кожев отменяет эту границу с божественным, а потому говорит о «смерти человека» вместе с достижением положения «мудреца» в отменяющем плюрализм народов «универсальном и гомогенном государстве».

ном полисе. Никакие исторические мутации не меняют того, что человек есть «политическое животное», что ему нужно не просто сосуществовать с другими, но стремиться к лучшему общественному строю, к тому, что он, как разумное существо, считает лучшим общественным порядком. История тем самым не отменяется, Штраус даже готов согласиться с тем, что может наступить «конец истории» в том смысле, который вкладывает в это понятие Кожев. Только появление «универсального и гомогенного государства» никак нельзя считать желанной целью. Тех, кого Кожев называет «мудрецами», в царстве «последнего человека» будет все же меньшинство, а остальные не откажутся от политической драки даже при удовлетворении всех своих основных потребностей. Так что мудрецы вряд ли окажутся у власти, а достанется она, скорее, такому Цезарю, который, завладев ею, запретит философию и станет преследовать хоть мудрецов, хоть философов, угрожающих полноте манипулирования всеми прочими. Тогда философия придет к концу, но уже по иным, чем это кажется Кожеву, причинам - она не вольется в мудрость, а будет истреблена. Штраус согласен с Кожевом в том, что философ не должен укрываться от проблем эпохи в «саду» или в «республике письмен». Подражая Сократу, он выйдет на «площадь», а потому конфликт «философа и города» неизбежен. Но это не означает, что философ обязан становиться политиком, советником тирана, продвигающего историю вперед к какой бы то ни было заявленной высшей цели. Придворные консультанты и советники, служащие упрочению власти аморального тирана, конечно, могут выдумывать себе любые оправдания, ссылаясь на некий высший смысл своей деятельности, но к философии это не имеет ни малейшего отношения.

Итак, Штраус подчеркивает независимость морали от исторического потока, автономность истины, добра и красоты; политическая добродетель во все времена требует мужества, веры и выбора между добром и злом. Если Кожев признает какую-то опосредующую роль «интеллектуалов», то для Штрауса они, выражаясь словами Гомера, «земли бесполезное семя» - образцом для него является не беглец в эпикурейский «сад», но Сократ. Спор с Кожевом был продолжен в одной из последующих книг Штрауса, где он с консервативных позиций отвергает современный либерализм. И коммунизм, и либерализм имеют своей целью «универ-

сальное и гомогенное государство», различаясь только в выборе средств. «Консерваторы считают универсальное и гомогенное государство либо нежелательным, хотя и возможным, либо и нежелательным, и невозможным»¹. Консерватизм отстаивает не всеобщее и однородное, но все многообразие традиций, не доверяя «чистому разуму». Универсальны только нормы морали, без которых невозможно никакое цивилизованное общество. Особенностью современного консерватизма является то, что отстаивают консерваторы уже не «алтарь и трон», но именно либеральные ценности XIX в., преданные забвению нынешним «прогрессистским» либерализмом. Сам Штраус нередко ссылается на Токвиля и лорда Эктона, хотя к источникам его концепции можно было бы отнести и немецкий «национал-либерализм» конца XIX - начала XX столетия. Классическая античная модель полиса, модифицируется им в духе либерализма виггов, принципиально отличного от либерализма современного. Свободный гражданин полиса (или английский джентльмен) служит своему отечеству, а не идолу Истории. История же вообще выводится за пределы политической теории: меняются обстоятельства и формы правления, но выбор между добром и злом в политике остается примерно тем же самым во все времена.

При всех различиях в воззрениях Кожева и Штрауса, они сходятся в оценке массовой демократии и массовой культуры. Для Кожева «конец истории» выглядел как суровая необходимость, однако часто он изображается как «животное царство» потребителей, забывших, что свобода связана с самоутверждением в борьбе. Штраус признает демократию только как «универсальную аристократию», но сегодняшнее массовое общество, по его мнению, ведет к цезаризму и деспотизму. Классики политической философии не были поклонниками демократии, поскольку их интересовала добродетель, а она не появится от того, что черни предоставят все права, - она является плодом традиции и воспитания. Техника и «экономика изобилия» сделали возможным распространение гражданских прав на всех, но в технике Штраус видит угрозу демократическим институтам, которые сегодня почти некому защищать: западные общества порождают тип человека, готового ради

¹ *Strauss L. Liberalism Ancient and Modern. - N.Y. - London, 1968. - P. VI.*

материального благосостояния отказаться от прав и свобод¹. Немалую вину за это он возлагает на современную политическую науку, которая смотрит на человека «снизу», превращает его в одну из физических сил, считая себя ценностно «нейтральной». Оценивая современную политологию со всеми ее рецептами, Штраус писал: «Только круглый дурак станет называть новую политическую науку дьявольской: у нее нет ни малейших атрибутов падших ангелов. Она не является даже макиавеллизмом, поскольку учение Макиавелли было изящным, тонким и красочным. Она не является даже нероновской. Тем не менее о ней можно сказать, что она музицирует, когда горит Рим. Лишь два обстоятельства извиняют ее: она не знает того, что она играет, и она не знает того, что Рим горит»².

Конечно, Кожеву было что сказать в ответ на критику Штрауса. Он мог бы заметить, что Штраус вообще не имеет права говорить о Гражданине в полном смысле слова, поскольку идеализированный обитатель полиса был типичным Господином, которому требовалось множество рабов. Не так уж высока и мораль римского патриция, услаждающего себя зрелищем гладиаторских боев, или английского джентльмена, ведущего колониальную войну ради свободной торговли опиумом. Универсальная мораль приходит вместе с расширением ойкумены, причем свою роль тут сыграло и христианство, и те Цезари, которые, начиная с Александра Македонского, преодолевали партикуляризм полисов или национальных государств. Правовое государство начинается вместе со свержением всевластия господ, властвующих не по причине своей добродетельности, но опираясь на грубую силу. В написанной в 1943 г. работе по философии права Кожев прямо указывает на то, что битвы XX в. суть продолжения «диалектики господина и раба», в которых сторонникам цивилизации, уже достигшей правового состояния, противостоят те, кто хотел бы возродить насильственное правление господ.

¹ Такие пессимистические оценки разбросаны по многим работам Штрауса. Особенно характерна в этом смысле: *Strauss L. The City and the Man*. - Chicago, 1964. Разумеется, у него были предшественники, вроде Токвиля - либералы XIX в. вообще негативно относились к массовой демократии.

² *Strauss L. Liberalism Ancient and Modern*. - P. 223.

Штраус не упрощает позицию оппонента и прямо указывает на различия своей (и «классиков») точки зрения и взглядов Кожева: «Классики понимали тиранию как противоположность наилучшему режиму, а таковым они считали правление лучших или аристократию. Однако аристократия, по возражению Кожева, есть власть меньшинства над большинством граждан или взрослых обитателей данной территории, и эта власть, в конечном счете, держится на насилии и терроре»¹. Но если мы признаем наличие неизменной природы человека, то следствием этого будет отказ от мечтаний о реализации «конца Истории». В таком случае речь может идти только о поисках лучшего порядка, соответствующего человеческой природе.

Иначе говоря, различия в политической философии восходят к различиям в онтологии и философской антропологии. Свои разногласия, как известно, Кожев со Штраусом обсуждали в переписке. Кожев прямо указывал (письмо от 29.10.1953) на то, что имеющаяся некая предзаданная «человеческая природа», он был бы согласен со Штраусом, но сама предпосылка подобного рода нуждается в доказательствах. Однако ее либо нужно принять на веру, либо взять из данных тех или иных эмпирических наук. Философии претит и то и другое. Сколько различных верований не выдерживало суда разума, сколько обобщений частных наук выдавалось за «последнее слово», включая и «расовую биологию». При всех негативных оценках философской «безвкусицы» экзистенциализма Кожев полагает, что «природой» человека можно считать только его безосновную свободу. Штраус утверждает, что существует «вечный и неизменный порядок, в котором история имеет место, но сам этот порядок от того, что есть история, не меняется»². «Царство свободы» - это лишь одна из провинций «царства необходимости». Конституционная и либеральная демократия не вызывает у Штрауса восторга, но она все же ближе аристократическому идеалу «классиков», чем все прочие современные режимы. По самой своей природе человек стремится к лучшему, а таковым в политической области остается власть лучших в условиях свободы. Вместе с античными философами он считает тиранию наилучшим политическим строем, несущим людям, по словам Платона, «самое тяжкое и горькое рабство - рабство у рабов».

¹ *Strauss L. On Tyranny*. - P. 192.

² *Ibid.* - P. 212.